

il y avait une prophétie
; et la prophétie dit
lui donnerait le pouvoir
nerait, en échange, les
s... Mais j'ai l'impres
se, chaque mot frappent
désir... m'achar
autr... profond-
ision, de justesse. Les mots

**МОХАМЕД
МБУГАР
САРР**

**В ТАЙНИКАХ
ПАМЯТИ**

18+

**Prix
Goncourt
2021**

Мохамед Мбугар Сарр

В тайниках памяти

Издательство «Синдбад»

2021

Сарр М.

В тайниках памяти / М. Сарр — Издательство «Синдбад», 2021

ISBN 978-5-00131-475-2

«В тайниках памяти» – захватывающий рассказ о поисках таинственного автора романа «Лабиринт бесчеловечности», вызвавшего в Париже 1938 года бурю эмоций: одни называли его новым Артюром Рембо, другие обвиняли в плагиате. В наши дни книга производит неизгладимое впечатление на начинающего сенегальского писателя Диегана Латира Файе, и он задается целью выяснить, что случилось с этим бесследно исчезнувшим человеком. Мысленное путешествие в прошлое и реальное – по следам автора – погружает Диегана в подробности давних драматических событий колониальной эпохи, Первой мировой войны, Холокоста... Роман представляет собой смешение нескольких жанров: это и интеллектуальный детектив, и история взросления, история любви, репортаж, философское эссе, биография, политический памфлет. Он затрагивает фундаментальные вопросы о связи между творчеством и жизнью, о трудных отношениях между странами Африки и Запада. Но в первую очередь это гимн любви к литературе и прославление ее неиссякаемой силы.

ISBN 978-5-00131-475-2

© Сарр М., 2021

© Издательство «Синдбад», 2021

Содержание

Книга первая	6
Часть первая	6
27 августа 2018	6
I	6
II	7
III	9
IV	10
V	12
Часть вторая	18
11 июля 2018	18
12 июля	18
15 июля	19
23 июля	23
31 июля	27
4 августа	28
5 августа	29
6 августа	32
10 августа	34
11 августа	35
13 августа	36
14 августа	37
15 августа	39
18 августа	40
19 августа	40
«Лабиринт бесчеловечности», или подлинный источник одной мистификации	41
Первая биографема	46
Книга вторая	48
Часть первая	48
I	48
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Мохамед Мбугар Сарр

В тайниках памяти

Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права»

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2022

Автор выражает бесконечную признательность Фонду Лагардера, который поддержал создание романа, выделив для этой цели свою ежегодную стипендию за 2018 год. Книга также получила субсидию региона Иль-де-Франс в 2019 году. Автор благодарит за эту поддержку и выражает особую признательность Национальному музею истории иммиграции, предоставившему ему для работы свою творческую резиденцию.

Посвящается Ямбо Уологему

«Некоторое время Критика сопровождает Творчество, затем Критика исчезает, и далее Творчество сопровождают Читатели. Это путешествие может быть длительным, а может быть и коротким. Затем читатели один за другим умирают, и Творчество продолжает свой путь в одиночестве, даже если другая Критика и другие Читатели постепенно учатся следовать его курсом. Затем Критика снова умирает, Читатели умирают тоже, и Творчество продолжает свое путешествие к одиночеству по дороге, усеянной костями. Приближение к нему, движение по его следам – верное предвестие неминуемой смерти, и все же новая Критика и новые Читатели неутомимо и неутомимо приближаются к ней, а время и скорость их пожирают. Наконец, Творчество продолжает свой путь в неисцелимом одиночестве. И наступает день, когда оно умирает, как умирает всё, как однажды угаснут Солнце, и Земля, и Солнечная система, и наша Галактика, и тайники памяти людской».

Роберто Боланьо. Дикие сыщики

Книга первая

Часть первая *В сетях Матушки-Паучихи*

27 августа 2018

О писателе и его творчестве мы можем знать, как минимум, следующее: он и оно двигаются вдвоем по самому совершенному лабиринту, какой только можно себе представить, по длинной кольцеобразной дороге, где пункт назначения совпадает с отправной точкой: одиночеством.

Я покидаю Амстердам. Несмотря на полученные здесь сведения, мне трудно сказать, знаю ли я теперь Т. Ш. Элимана лучше, чем раньше, или его тайна стала еще более непроницаемой. Я мог бы вспомнить парадокс, присущий всякой погоне за знанием: чем больше мы узнаём о каком-либо фрагменте мира, тем яснее представляем себе объем непознанного и степень нашего невежества; но даже это сравнение могло бы лишь отчасти передать чувство, которое вызывает у меня этот человек. Тут нужно более жесткое определение, то есть более пессимистичное в смысле самой нашей способности постигнуть чужую душу. Его душа похожа на черную дыру, которая притягивает и поглощает все, что к ней приближается. Поразмышляв над его жизнью, чувствуешь печаль, смирение или даже отчаяние, и шепчешь: мы не можем ничего узнать о душе человеческой, да и узнавать тут нечего.

Элиман ушел в Ночь. Легкость, с какой он простился с солнцем, завораживает меня. Исчезновение его тени завораживает меня. Его цель в жизни – тайна, которую я мучительно пытаюсь разгадать. Я не знаю, почему он умолк, когда ему еще так много оставалось сказать. Но больше всего я страдаю от того, что не могу подражать ему. Всякий раз, когда встречаешься с молчаливником, настоящим молчаливником, возникает вопрос: в чем смысл – и в чем необходимость – твоего собственного слова, и пронзает мысль: а вдруг это слово – всего лишь докучная болтовня, замусоривание речи?

Сейчас я заткну рот и брошу тебя на этом месте, о мой Дневник. Сказки Матушки-Паучихи утомили меня, Амстердам меня истощил. Меня ждет дорога одиночества.

I

Писателям-африканцам моего поколения (которое скоро уже нельзя будет назвать молодым) Т. Ш. Элиман дает пищу для истовых и ожесточенных литературных баталий. Его книга была одновременно храмом и ареной борьбы; мы входили в нее словно в гробницу бога, а в итоге оказывались на коленях в луже собственной крови, пролитой во славу шедевра. Единственная его страница создавала у нас впечатление, что мы имеем дело с настоящим писателем, самобытным и неповторимым, из тех светил, что восходят в небе данной литературы лишь однажды.

Вспоминается один из многочисленных ужинов, которые мы провели, говоря о его книге. В разгар дискуссии Беатрис, чувственная и неукротимая Беатрис Нанга (я надеялся, что когда-нибудь она задушит меня своими грудями), выпустив коготки, изрекла, что только произведения настоящих писателей достойны служить поводом для ожесточенных споров, что только они могут разогреть кровь, как выдержанный виски, и если ради вялого, бесхребетного кон-

сенсуса мы уклонимся от отчаянной схватки, к которой они нас подстрекают, то станем позором литературы. Настоящий писатель, добавила она, зовет настоящих читателей к кровавым усобицам, между ними непрерывно идет война; и если вы не готовы отдать жизнь на ристалище, вырвав у противников трофей – козлиную тушу, как в игре бузкаши, – то убирайтесь вон и подышайте в своей теплой моче, которую вы принимаете за высокосортное пиво: вы кто угодно, только не читатель, а уж тем более не писатель.

Я поддержал Беатрис Нанга, когда она закончила свою пламенную речь. Т. Ш. Элиман был даже не классик, ему был посвящен целый культ. Создание литературного мифа – это игровой стол; Т. Ш. Элиман сел за него и разыграл три самых важных козыря, какими только можно обладать: во-первых, он выбрал себе имя с загадочными инициалами; во-вторых, написал одну-единственную книгу; и наконец, бесследно исчез. Да, чтобы завладеть этой тушей, и правда стоило поставить на кон собственный нос.

Можно усомниться в том, что человек по имени Т. Ш. Элиман когда-то действительно существовал; или предположить, что это псевдоним, который придумал себе некий известный автор, чтобы подшутить над литературным миром или чтобы спрятаться от него; но нельзя поставить под сомнение мощь и правдивость этой книги: прочитав последнюю страницу, вы чувствуете, как жизнь со всей своей силой и чистотой снова наполняет вам душу.

Был ли Гомер историческим лицом с реальной биографией? Этот вопрос и сегодня не перестает занимать нас. Но, по сути, он никак не влияет на впечатления человека, прочитавшего «Илиаду» или «Одиссею»; Гомер, кем бы или чем бы он ни был на самом деле, это тот, к кому обращена признательность восхищенного читателя. Равным образом для нас не имеет значения, что скрывается за именем «Т. Ш. Элиман» – реальная личность, мистификация или легенда: нам важно лишь, что это имя стоит на книге, изменившей наш взгляд на литературу. А быть может, и на жизнь. «Лабиринт бесчеловечности» – так она называлась, и мы тянулись к ее страницам, как ламантины из высыхающей речной заводи движутся вверх по реке к живительным истокам.

«Вначале было пророчество, и был Король; и пророчество поведало Королю, что земля даст ему безграничную власть, но потребует за это прах старцев, и Король согласился; он тут же начал сжигать своих престарелых подданных, а затем разбросал их останки вокруг дворца, где в скором времени вырос лес, который прозвали лабиринтом бесчеловечного».

II

Как мы встретились, эта книга и я? Как и все в этом мире – случайно. Но я помню, что мне сказала однажды Матушка-Паучиха: случай – это всякий раз не что иное, как судьба, вмешательства которой не замечают. Однако впервые я прочел «Лабиринт бесчеловечности» совсем недавно, чуть больше месяца назад. Нельзя сказать, впрочем, что раньше я ничего не слышал об Элимане: его имя было знакомо мне еще с лица. Оно попало мне в сборнике «Краткий обзор негритянских литератур», одной из тех неистребимых антологий, которые еще с колониальной эпохи служили учебным пособием по словесности для школьников франкоязычной Африки.

Это было в 2008 году, в выпускном классе военного интерната на севере Сенегала. Я тогда уже начал интересоваться литературой, и у меня зародилась юношеская мечта стать поэтом; вполне банальное желание в этом возрасте, когда открываешь для себя величайших из них и вдобавок живешь в стране, над которой все еще нависает гигантская тень Сенгора¹; иными

¹ Сенгор, Леопольд Седар (1906–2001) – сенегальский и французский политик, поэт и философ; первый президент Сенегала.

словами, в стране, где поэзия остается одной из величайших ценностей. Это была эпоха, когда девушек соблазняли стихами, выученными наизусть либо собственного сочинения.

Итак, я зачитывался поэтическими антологиями, словарями синонимов, редких слов, рифм. И сам писал одиннадцатисложником ужасающие вирши, где полно было всяких «тускнеющих слез», «надтреснутых небес» и «стеклянных зорь». Я подражал, пародировал, а то и прямо заимствовал. Я лихорадочно перелистывал «Краткий обзор негритянских литератур». И именно там, рядом с классиками негритянских литератур вроде Чичелле Чивела и Чикайя У Там'си, мне встретилось незнакомое имя: Т. Ш. Элиман. Очерк, посвященный этому автору, настолько отличался от прочих текстов в «Кратком обзоре», что я решил прочесть его целиком. Там было сказано следующее (книга до сих пор у меня):

«Т. Ш. Элиман родился в Сенегале. Получил стипендию для учебы в Париже, куда переехал и в 1938 году опубликовал книгу «Лабиринт бесчеловечности», которую Судьба отметила печатью трагического своеобразия.

И что это была за книга! Шедевр, созданный молодым африканским негром! Во Франции подобного еще не видали! И завязался один из тех литературных споров, какие могут возникнуть и обрести популярность только в этой стране. У «Лабиринта бесчеловечности» было столько же поклонников, сколько и ниспровергателей. Но в момент, когда молва прочила автору престижную премию, случился неприятный литературный казус, который оборвал его взлет. Книгу забросали грязью; что до молодого автора, то он исчез с литературной сцены.

А затем началась война. С конца 1938 года о Т. Ш. Элимане не было никаких вестей. Его дальнейшая судьба остается загадкой, несмотря на ряд любопытных гипотез (по этому вопросу стоит почитать короткое эссе журналистки Б. Боллем «Кем на самом деле был негритянский Рембо? Одиссея призрака», издательство «Зонд», 1948). Напуганный полемикой, которую вызвал роман, издатель изъясил его из продажи и уничтожил весь тираж. Повторной публикации «Лабиринт бесчеловечности» так и не дождался. Сегодня это библиографическая редкость.

Повторим еще раз: юный автор был талантлив. Возможно, даже гениален. Жаль, что он посвятил себя живописанию отчаяния: его чересчур пессимистичная книга подтверждает пришедшее из колониальных времен восприятие Африки – мрачной, жестокой, варварской. Континент, который успел так настрадаться и которому предстояло страдать в будущем, был вправе ожидать от своих писателей более позитивного образа».

Прочитав эти строки, я тут же устремился на поиски следов Т. Ш. Элимана или, точнее, следов его призрака. Несколько недель я пытался добыть дополнительные сведения о его судьбе, но не узнал ничего нового по сравнению с тем, что вычитал в «Кратком обзоре». Не нашлось ни одной фотографии Т. Ш. Элимана. На немногочисленных сайтах, где я встречал его имя, о нем упоминали так бегло и так туманно, что вскоре я понял: там знают не больше моего. Все или почти все называли его «скандальным африканским автором периода между двумя войнами», не объясняя причину этой скандальности. О книге я тоже не узнал практически ничего нового: она не удостоилась ни одного серьезного разбора, не стала предметом ни одного исследования, ни одной диссертации.

Однажды я поговорил об этом с другом моего отца, который преподавал в университете литературу Африки. Слишком короткая жизнь Элимана во французской словесности, сказал он (сделав ударение на «французской»), не позволила сенегальцам открыть для себя его творчество. «Это творение бога-евнуха. О «Лабиринте бесчеловечности» иногда рассуждали как о священной книге. Но на самом деле она не стала фундаментом какой-то новой религии. Никто уже не верит в эту книгу. А может, в нее и раньше никто не верил».

Но я тогда находился в военном интернате, затерянном в джунглях, и это ограничивало мои возможности. Поэтому я отказался от дальнейших розысков, смирившись с простой и жестокой правдой: Элиман стерт не только из памяти литературы, но, по-видимому, и из памяти людей, в том числе соотечественников (известно, впрочем, что первыми вас всегда

забывают именно соотечественники). «Лабиринт бесчеловечности» принадлежал к иной, альтернативной (или, наоборот, *основной*) истории литературы – истории затерявшихся в закоулках времени даже не проклятых, а попросту забытых книг, чьи не востребованные останки усеивают полы темниц без тюремщиков и служат вехами на бесконечных и пустынных оледневших тропинках.

Я решил больше не думать об этой печальной истории и снова стал неуклюжими виршами сочинять поэмы о любви.

В конечном счете моей самой ценной находкой оказалась найденная на каком-то интернет-форуме длинная первая фраза «Лабиринта бесчеловечности» – казалось, она одна уцелела от книги, уничтоженной семьдесят лет назад: «Вначале было пророчество, и был Король; и пророчество поведало Королю, что земля даст ему безграничную власть, но потребует за это прах старцев» и т. д.

III

Вот каким образом «Лабиринт бесчеловечности» вернулся в мою жизнь.

После нашего знакомства в лицее мне какое-то время не пришлось иметь дела с Элиманом. Правда, я вспоминал о нем, но все реже и реже, и всякий раз с чувством легкой грусти, как вспоминают о старом потерянном друге, о рукописи, погибшей в пожаре, о любви, от которой отказались из страха наконец-то обрести счастье. Я получил аттестат зрелости и уехал из Сенегала, чтобы продолжить учебу во Франции.

В Париже я опять попытался проникнуть в тайну Элимана, но безуспешно: его книги не было нигде, даже у тех букинистов, у которых, как меня уверяли, можно найти все что угодно. Что же касается эссе Боллем «Кем на самом деле был негритянский Рембо?», то его не переиздавали с середины 1970-х. Вскоре учеба и эмигрантская жизнь захватили меня целиком, и «Лабиринт бесчеловечности» отодвинулся куда-то далеко, а его автор стал казаться не более чем треском спички, вспыхнувшей в беспросветной литературной ночи. Мало-помалу я забыл о них обоих.

Я перешел на последний курс, мне предстояло писать дипломную работу по литературе: для меня это было как изгнание из писательского рая. Я превратился в нерадивого студента-дипломника, а в скором времени и вовсе оставил благородное поприще академической науки ради другого призвания, столь высокого, сколь и властного – литературы. Меня предостерегали: возможно, тебе так и не удастся стать писателем, возможно, в конце концов ты превратишься в озлобленного, опустошенного, опустившегося неудачника!

– Не исключено, – отвечал я.

– Смотри, ты можешь докатиться до самоубийства!

– Ну да, – отвечал я, – риск есть: но ведь жизнь – это в сущности не более чем дефис между «как» и «никак». И я пытаюсь пройти по этой тоненькой черточке. Она может подломиться под моей тяжестью; ну и пусть, зато я увижу, что там, внизу, еще живо, а что уже мертво.

Затем я послал предостерегавшего куда подальше. В литературе, сказал я ему, успех – дело безнадежное, а ты садись на поезд успеха и вали на нем, куда хочешь.

Я написал небольшой роман, «Анатомия пустоты», и напечатал его у одного малоизвестного издателя. Книга провалилась в продаже (за первые два месяца было продано семьдесят девять экземпляров, включая те, что я купил сам). Тем не менее тысяча сто восемьдесят два человека лайкнули пост, в котором я сообщал о предстоящем выходе романа. Девятьсот девятнадцать оставили комментарии. «Поздравляю!»; «Здорово!»; «*Proud of you!*»²; «*Congrats bro!*»³;

² Горжусь вами! (англ.)

³ Поздравляю, братишка! (англ.)

«Браво!»; «Придает новые силы!» (а я теряю последние); «Спасибо, брат, гордимся тобой!»; «Скорей бы прочитать, Иншаллах!»; «Когда выйдет?» (хотя в посте была указана дата); «Где достать?»; «Сколько стоит?» (и то и другое опять-таки было указано); «Название интригующее!»; «Ты – пример для всей нашей молодежи!»; «О чем эта книга?» (этот вопрос – воплощение Зла в литературе); «Где заказать?»; «Можно ли найти в формате PDF?» и т. п. Итог: семьдесят девять проданных экземпляров.

Пришлось ждать четыре или пять месяцев, прежде чем на книгу обратили внимание. Один влиятельный журналист, специализирующийся на так называемых франкоязычных литературах, отрецензировал ее в «Монд-Африка», уложившись в тысячу двести знаков (с пробелами). Он с некоторой сдержанностью отозвался о моем стиле, но своей последней фразой поставил на мне пугающий, грозный, пожалуй, даже адский штамп, назвав меня «многообещающей фигурой во франкоязычной литературе Африки». Конечно, это было не так ужасно, как «восходящая звезда», но все же комплимент получился впечатляющий. Понятное дело, этого оказалось достаточно, чтобы привлечь ко мне внимание литературных кругов африканской диаспоры в Париже, которую злые языки – в частности, мой – именовали «гетто». С этого момента, благодаря «Монд-Африка», даже те, кто меня не читал и, вероятно, никогда не прочел бы, знали, что я – очередной многообещающий молодой автор. На литературных фестивалях, выставках и салонах, куда меня теперь приглашали, я стал непременным участником всевозможных круглых столов под названиями типа «Новые голоса», «Новая смена», «Новое слово» или еще что-то «новое», на деле представлявшим собой давно устаревший литературный хлам. Некоторый шум вокруг моего имени эхом отозвался у меня на родине, в Сенегале: мной стали интересоваться, поскольку я вызвал интерес в Париже. С этого момента «Анатомия пустоты» принялись обсуждать (не всегда успев прочитать).

Несмотря на все это, роман вызвал у меня чувство неудовлетворенности. Вскоре я стал стыдиться «Анатомии пустоты» – написанной мной по причинам, о которых я расскажу позже – и, чтобы очиститься от нее или навсегда оставить ее в прошлом, я начал мечтать о другом романе, масштабном и определяющем. Оставалось только его написать.

IV

Таким образом, спустя месяц после того как я принял это решение – написать главную книгу моей жизни, июльской ночью, так и не сумев придумать первую фразу, я выбежал на парижскую улицу и побрел наугад, надеясь на чудо. И чудо произошло: взглянув в окно бара, я узнал в одной из посетительниц Марем Сигу Д., сенегальскую писательницу лет около шестидесяти; поскольку выход каждой ее книги сопровождался скандалом, некоторые стали смотреть на нее как на зловещую пифию, колдунью или даже вампира. А в моих глазах она была ангелом, темным ангелом сенегальской литературы, без которого эта последняя превратилась бы в убийственно скучную клоаку, где, подобно фекалиям, плавают книги, начинающиеся с описания «солнечных лучей, пробивающихся сквозь листву» или обязательной неземной красавицы «с выступающими скулами», «орлиным» (вариант: «слегка приплюснутым») носом, «выпуклым» (или «чистым») лбом. Сига Д. спасала новейшую сенегальскую литературу от сползания в стоячее болото штампов и пустых фраз, безжизненных, как гнилые зубы. Она уехала из Сенегала, чтобы вдали от родины написать книгу, нарушавшую приличия только одним – своей исключительной честностью. Это сделало ее культовым автором, а также героиней нескольких судебных процессов, на которые она всегда являлась без адвокатов. Она часто проигрывала, но утверждала: то, что я имею сказать, – здесь, в моей жизни, поэтому я продолжу писать, и мне начхать с высокого дерева на ваши жалкие нападки.

Итак, я увидел в баре Сигу Д. Вошел и сел за столик недалеко от нее. Кроме нас, в зале было всего трое или четверо посетителей. Остальные устроились на террасе, где было про-

хладнее. Сига Д. была за столиком одна. Она напоминала львицу, залегшую в высокой траве, подстерегающую добычу и взглядом своих желтых глаз разрывающую саванну в лохмотья. Ее холодный вид настолько контрастировал с обжигающей страстностью ее произведений, что воспоминание о них – о великолепных, полных драматизма страницах, о страницах из кремня и алмаза – заставило меня на мгновение усомниться, действительно ли их написала эта сидевшая сейчас передо мной бесстрастная женщина?

В это самое мгновение Сига Д. подняла руку, чтобы завернуть широкий рукав просторного одеяния, края выреза разошлись, и я увидел ее груди. Они показались всего на пару секунд, словно в конце туннеля – или коридора, в котором томится желание. Сига Д. посвятила им незабываемые страницы, строки, достойные самой волнующей антологии эротических текстов. Короче, передо мной был бюст, вошедший в историю литературы. Многим читателям довелось мысленно созерцать его; и нередко в процессе созерцания у них возникали самые что ни на есть реалистичные фантазии. Я пробудил мои собственные, но тут рука опустилась, и грудь исчезла из поля зрения.

Собрав волю в кулак и допив бокал до дна, я подошел к столику, за которым сидела Сига Д. Я представился: «Диеган Латир Файе», сказал, что восхищаюсь ее творчеством и безмерно рад ее видеть, что меня завораживает ее личность, что мне не терпится прочесть ее следующую книгу, – в общем, выдал дежурный набор комплиментов, которые она привыкла слышать на встречах с поклонниками; потом, заметив на ее лице вежливо-раздраженное выражение, какое бывает у людей, желающих деликатно избавиться от назойливого типа, решил сыграть ва-банк и сказал: я только что видел вашу грудь и хотел бы увидеть ее снова.

Сига Д. сощурилась от удивления, я почувствовал, что передо мной открылась лазейка, и тут же проник в нее:

- Я так долго мечтал об этой груди, мадам Сига.
- То, что ты успел увидеть, тебе понравилось? – спокойно произнесла она.
- Да, очень понравилось, и я хочу еще.
- Почему?
- Потому что у меня стоит.
- Ты серьезно, Диеган Латир Файе? Мало же тебе для этого нужно, молодой человек!
- Да, я знаю, мадам Сига, но ваша грудь не дает мне покоя, и уже давно, если бы вы только знали, как давно.

– Не говори мне «вы», не называй меня мадам, это смешно, и успокойся, не надувай свой шарик, я тебе в матери гожусь.

– Ну так дай мне грудь по-матерински, – ответил я, как говорил в отрочестве, когда девушки отвергали мои ухаживания (или ничего не понимали в моих одиннадцатисложниках): поскольку они были на пять-шесть лет старше меня, я воображал, что они могли бы произвести меня на свет.

Сига Д. какое-то время разглядывала меня, затем в первый раз улыбнулась.

– Вижу, молодой человек за словом в карман не лезет. А еще вижу, что молодой человек – гурман. Хочешь, чтобы я дала тебе грудь? Прекрасно. Пойдем со мной. Мой отель – в нескольких минутах ходьбы. Если на то будет воля Аллаха, желание молодого человека исполнится.

Она уже собралась встать, но передумала:

– А может, ты предпочитаешь сделать это прямо здесь и сейчас?

И в доказательство того, что она не шутит, потянула за ворот просторного запахивающего одеяния, и одна из ее больших грудей, левая, выскользнула наружу.

– Хочешь? – спросила Сига Д. – Вот, пожалуйста.

Я увидел коричневатый ореол соска, он был как островок среди изобилия плоти более светлых оттенков. Сига Д. смотрела на меня, склонив голову к правому плечу, невозмутимая и словно бы равнодушная ко всему остальному. Если бы она захотела, это могло бы выглядеть

вызывающе, даже слегка вульгарно, однако в ее мало целомудренном жесте была сдержанная сила, для которой я очень быстро подобрал название: элегантность.

– Ну так что? Хочешь или нет?

Она взяла грудь в ладони и стала медленно разминать. Через несколько секунд я сказал, что предпочел бы сделать это в более интимной обстановке, в отеле.

– Жаль, – ответила она с не вызывающей доверия кротостью и, перед тем как встать, спрятала грудь. Воздух наполнился ароматами мирры и корицы. Я заплатил по счету и вышел вслед за ней.

V

Мы пришли в отель, где она остановилась на те несколько дней, которые собиралась провести в Париже: она приехала на конференцию, посвященную ее творчеству.

– Но это моя последняя ночь здесь, – сказала она, вызывая лифт. – Завтра я возвращаюсь домой, в Амстердам. Так что сегодня или никогда, Диеган Латир Фае.

Она зашла в лифт с ужасной улыбкой на устах. Этот подъем на четырнадцатый этаж для меня был мучительным движением вниз, к неминуемому провалу. Тело Сиги Д. извело все, испробовало все, наслаждалось всем: что я мог дать ей? Куда повести? Что придумать? Какую игру показать? Философы, восхваляющие чудеса, на которые способен изобретательный любовник, никогда не встречались с Сигой Д.: одним своим присутствием она зачеркивала весь мой альковный опыт. Что мне делать? Мы уже на пятом этаже. Она не почувствует ничего, не почувствует даже, что ты вошел в нее, твое тело от прикосновения к ней станет жидким и впитается в одеяло, простыню и матрас. Восьмой этаж. В самом деле, ты не просто утонешь, ты исчезнешь, рассыплешься, это будет то, что древние мыслители называли *кли-намен*, отклонение атомов, которое отодвигает их в неопределенное место и время, согласно учению Левкиппа, Демокрита Абдерского (коему в философии можно уподобить одного лишь Эмпедокла), а также Лукреция, комментирующего сладострастника Эпикура в своей книге «О природе вещей». Одиннадцатый этаж. Скука, смертельная скука – вот что ждет ее с тобой.

В лифте было жарко, у меня на коже выступил холодный пот, Сига Д. могла бы отделаться от меня одним щелчком, сдуть одним дуновением, как соломинку. Чтобы взбодриться, я стал думать о могучей груди, которую мне предстоит сосать, о бюсте, вошедшем в историю литературы. Но этот образ не вызвал энтузиазма, а наоборот, только усугубил охватившую меня слабость, мои руки казались мне до смешного маленькими и беспомощными по сравнению с грудями писательницы – руки, не согретые желанием, культи, а не руки. Что до языка, то я даже не думал его использовать: литературные соски парализовали его заранее. Я был обречен.

Четырнадцатый этаж. Лифт открылся, Сига Д. вышла, не взглянув на меня, и свернула налево; несколько секунд я не слышал ее шагов: их приглушал толстый ковер в коридоре; затем щелкнул электронный замок – и снова наступила тишина. Я оставался в лифте, пока не выпустил газы из кишечника – я удерживал их с первого этажа, чтобы не уронить себя. Можно было сбежать, но я не решался. Это даже не было бы бегство, ведь мы оба понимали, что я проиграл, еще не успев вступить в битву. Если бы я ушел, это был бы печальный, но предсказуемый результат моего разгрома, констатация очевидного поражения. Кто-то внизу вызвал лифт. Двери начали закрываться. В последний момент я удержал их и выскочил. Мной двигало не столько мужество, сколько тайное желание потерпеть фиаско.

Итак, я двинулся по коридору. Одна из дверей была открыта – приглашение или предупреждение? – и оттуда веяло знакомыми ароматами мирры и корицы. Я не осмелился открыть ее во всю ширь, словно это были врата ада. Я, как дурак, застыл на месте. Свет в коридоре погас. Я сделал шаг вперед; свет опять зажегся, и я переступил порог. И оказался в просторной комнате, выдержанной в пастельных тонах, роскошной и безликой. За широким окном был

балкон, и на мгновение передо мной сверкнул Париж. Я услышал, как льется вода: Сига Д. изволила принимать душ. У меня отлегло от сердца: это была пусть маленькая, но все же передышка перед моментом истины.

Кровать в комнате была неправдоподобного размера; но еще сильнее впечатляла висевшая над ней картина, образец безвкусицы. Ни один художник не имел права жить после того, как он так нарочито приукрасил, то есть изуродовал мир, подумал я. Отведя взгляд от картины, я плюхнулся на огромную кровать и позволил мыслям вознестись к потолку и рассеяться. Мне представилось несколько возможных сценариев развития событий. Все они заканчивались одинаково: я перешагивал через балюстраду балкона и прыгал в пустоту под безжалостный хохот Сиги Д., не испытывавшей никаких ощущений. Она вышла из ванной четверть часа спустя. Большое махровое полотенце, доходившее до ляжек, было завязано на груди; еще одно полотенце обвивало ее голову, как тюрбан султанши.

– А, ты все еще здесь.

По тону ее голоса я не понял, что это было – холодная констатация, удивление, жестокая ирония или просто вопрос. Каждый из вариантов мог таить в себе ужасные скрытые смыслы. Я не ответил. Она улыбнулась. Я наблюдал за тем, как она расхаживает между комнатой и ванной. У Сиги Д. было тело зрелой женщины, никогда не отступавшей ни перед наслаждением, ни перед страданием. Это была красота, пронизанная болью; тело, забывшее стыд, прошедшее через много испытаний; тело отверженной; тело, в котором не было суровости, но которое не страшилось суровости мира. Чтобы узнать это тело, достаточно было на него внимательно взглянуть. Я посмотрел на Сигу Д., и мне открылась истина: передо мной было не человеческое существо, а паук, Матушка-Паучиха, у которой в гигантских сетях сплетались миллиарды нитей, мягких, как шелк, но крепких, как сталь, и, возможно, пропитанных кровью, а я был мухой, застрявшей в этой паутине, большой замороженной зеленой мухой, которую Сига Д. поймала в частую сеть из своих многочисленных жизней.

Нередко женщина после душа тратит время на массу всяких дел, очевидно очень важных, хотя со стороны невозможно понять, в чем именно они заключаются. Покончив с этим, она села в кресло передо мной. На ней по-прежнему не было ничего, кроме полотенца, и когда оно приподнялось, я увидел верхнюю часть ляжек, затем бедра и, наконец, маленький холмик. Я не стал отводить взгляд и какое-то мгновение рассматривал волосы на лобке. Я хотел увидеть Глазок. Тут она положила ногу на ногу, и воспоминание о Шэрон Стоун померкло в моей памяти.

– Держу пари: ты писатель. Или начинающий писатель. Не удивляйся, я научилась узнавать людей твоего типа с первого взгляда. Они смотрят на вещи так, словно за каждой из них скрыт какой-то непостижимый секрет. Когда они видят женский половой орган, то глазуют на него так, словно в нем – ключ к их тайне. Они эстетизируют увиденное. Но киска – это всего лишь киска. И когда вы тарашитесь на нее, незачем балдеть от лиризма или от мистицизма. Нельзя проживать мгновение и одновременно описывать его.

– Ничего подобного. Можно. Это и значит быть писателем. Превращать каждый миг жизни в миг творчества. Видеть все глазами писателя и...

– Вот в чем твоя ошибка. Вот в чем ошибка таких, как ты. Вы думаете, что литература исправляет жизнь. Или дополняет ее. Или заменяет. Но это неправда. Писатели – а я знала многих – всегда были едва ли не худшими любовниками, какие мне попадались. А знаешь почему? Когда они занимаются любовью, то уже прикидывают, как описать эту сцену. Никакая их ласка не радует, потому что их воображение одновременно создает или готовится создать ее литературную версию, их мужская сила скована срочной необходимостью построить фразу. Когда я говорю с ними во время объятий, то почти слышу, как они про себя добавляют: «Пропшептала она». Они живут в главах своих книг, мысленно ставят тире перед прямой речью, как положено в диалоге. *Als het erop aan komt* – по-голландски это значит «в конечном счете», –

писатели вроде тебя становятся пленниками собственных фантазий. Вы рассказываете, рассказываете и не можете остановиться. Но важна только жизнь. Произведение литературы – на втором месте. И они не смешиваются. Никогда.

Теория была занятная и приглашала к дискуссии, но я ее не слушал. Сига Д. опустила ногу на пол. Полотенце практически развязалось, и я видел почти все ее тело: живот, талию, надписи, вытатуированные на коже... Только груди еще были прикрыты краями полотенца. Теперь мне был явственно виден Глазок, и я смотрел на него не моргая.

– Ну вот: даже сейчас ты думаешь о фразах. Плохой знак. Если ты хочешь написать хороший роман, забудь о нем хотя бы на минуту. Ты же хочешь меня отыметь? Да, хочешь. Я здесь. Думай только об этом. Обо мне.

Она встала с кресла, подошла, наклонилась, приблизив лицо к моему. Полотенце развязалось, открылись груди, она прижалась ими ко мне.

– А если нет, встряхивайся отсюда и пиши еще один дерьмовый романчик.

Эта попытка раззадорить меня показалась мне несколько наивной, и я опрокинул Сигу Д. на кровать. Торжество, вождение и вызов, отразившиеся на ее лице, наполнили меня иступленным желанием. Я начал целовать ее соски и вскоре сумел добиться от нее вздохов или, вернее, чего-то похожего на вздохи. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Были эти вздохи реальными или нет, но они привели меня в восторг. Я приблизился к центру паутины, я, муха, приблизился к таинственному, смертоносному центру жилища Матушки-Паучихи. Я захотел соскользнуть к Глазку. Но она удержала меня и перевалила набок, как ребенка, с унижительной легкостью, и вдобавок расхохоталась; затем встала и начала одеваться.

На меня накатила волна бешенства, и я решил сделать вторую попытку. Но представил себе, как смешно выгляжу сейчас, и это меня удержало. Я промолчал и не двинулся с места. В этот момент Сига Д. запела какую-то медленную песню на языке серер. Я улегся и стал слушать, и мало-помалу комната, которая до этого не выражала ничего, кроме ледяного спокойствия, ожила, в нее проникла печаль, пробрались воспоминания. В песне говорилось о старом рыбаке, который готовится выйти в море, чтобы бросить вызов богине – владычице рыб.

Я закрыл глаза. Сига Д. закончила одеваться, напевая последний куплет. Лодка уплывала все дальше по тихим волнам океана, а рыбак напряженно вглядывался в горизонт, глаза его сверкали: он был готов к встрече с легендарной богиней. Он не вернулся на берег, откуда на него смотрели жена и дети. В конце пути его лодка оказалась позади океана, и один лишь Бог составлял ему компанию. В момент, когда Сига Д. умолкла, в комнате воцарилась безутешная печаль.

Она продержалась несколько секунд, и я почти физически ощущал ее тяжесть и затхлый запах, но тут Сига Д. пригласила меня посидеть на балконе, и там нам обоим стало легче. Она достала привезенную из Амстердама превосходную траву, с ловкостью, выдававшей привычку, свернула громадную самокрутку – я таких раньше не видел, – и мы стали курить этот косяк, беседуя о вещах серьезных и легкомысленных, о тысяче масок, которые надевает жизнь, о печали, которая всегда таится в сердце красоты; курили громадный косяк, набитый превосходной травой. Я спросил, знает ли она продолжение истории о рыбаке и легендарной богине.

– Нет, Диеган. Не думаю, чтобы у нее было продолжение. Так считала одна из моих мачех, Та Диб, которая пела мне ее в детстве.

Сига Д. сделала маленькую паузу, а затем добавила, что продолжения и не нужно, поскольку каждый из нас, *als her erop aan komt*, и так знает финал этой истории: тут возможен только один вариант. Я согласился с ней: действительно, другого варианта нет. В этот момент косяк, который я держал в руке, потух. За всю мою жизнь мне редко когда доводилось так приятно расслабиться. Я поднял глаза к небу, беззвездному небу: что-то закрывало его от меня, и это была не вереница облаков; другая преграда, огромная и глубокая, похожая на тень какого-то гигантского существа, пролетающего над землей.

– Это Бог, – сказал я. На мгновение замолк и продолжил спокойным и негромким голосом (мне кажется, я никогда больше не испытывал такого небывалого и неискуемого чувства, какое изведаль тогда – чувства, что я пальцем дотронулся до Истины): – Это Бог. Сегодня вечером Он совсем близко, я даже думаю, что Он давно уже не был так близок к нам. Но Он знает. Знает, что будущее уничтожит Его. Он недостаточно вооружен, чтобы противостоять Своему самому страшному кошмару – нам, людям.

– Значит, ты из тех, кто, покурив травки, превращается в мистиков и богословов, – тихо произнесла Сига Д.

Помолчав, она сказала:

– Подожди-ка. – Она вернулась в комнату, порылась в сумке и вернулась на балкон с книгой в руке. Села, раскрыла книгу наугад и сказала: – Мы не можем закончить этот вечер, не почитав, не пожертвовав несколько страниц богу поэтов. И начала читать вслух: трех страниц было достаточно, чтобы меня затрясло.

– Да, я знаю. Это действует сильнее, чем косяк, – сказала она, закрывая книгу.

– Что это?

– «Лабиринт бесчеловечности».

– Этого не может быть.

– В смысле?

– Этого не может быть. «Лабиринт бесчеловечности» – это миф. Т. Ш. Элиман – бог-евнух.

– Ты знаешь Элимана?

– Знаю. У меня был сборник «Краткий обзор негритянских литератур». Я так долго искал эту книгу... Я...

– Ты знаешь историю этой книги?

– В «Обзоре» сказано, что...

– Забудь про «Обзор». Ты пробовал искать самостоятельно? Да, похоже, пробовал. Но не нашел. Ясное дело. Никто не может найти. А вот я почти нашла. Подобралась совсем близко. Но дорога извилистая и длинная. А местами опасная для жизни. Ищешь Т. Ш. Элимана – и вдруг у тебя под ногами бесшумно разверзается пропасть, словно опрокинутое небо. Или чья-то гигантская пасть. Вот и передо мной раскрылась эта бездна. Я угодила туда. Падение произошло... падение...

– Я ни слова не понял из того, что ты рассказываешь.

– ...И я пережила его. Жизнь приняла неожиданное направление, моя путеводная нить затерялась среди песков времени, и мне не хватило мужества отправиться на ее поиски.

– На поиски кого? Или чего? А главное, как ты достала книгу? И где доказательства, что эта книга – действительно «Лабиринт бесчеловечности»?

– ...Я никогда не рассказывала, что я пережила или едва не пережила с этой книгой. Я чувствую, что это слепое пятно моей жизни, ее мертвое пространство.

– Ты обкурилась.

– ...И одновременно самое активное ее пространство, самая яркая видимая точка... И если я сумею найти нить этой истории, я зайду гораздо дальше вглубь неведомой страны, которая существует внутри меня и в которой она живет...

– Ты заговариваешься.

– ...И я приближусь к самому сердцу того, что должна написать: к самому сердцу моей книги, посвященной Элиману. Но сейчас я еще не готова. Это история, которую я не могу тебе рассказать, Диеган Файе. Во всяком случае, не сегодня. Еще не время.

Сига Д. умолкла и повернула голову к панораме города по ту сторону балкона. Но мне показалось очевидным, что она не видит ни одного из огней, сверкавших здесь и там, словно великолепные драгоценности на теле Парижа. Она всматривалась в себя, в огни или в сумрак

своего прошлого. Я не пытался рассеять эту меланхолию воспоминаний: я хотел определить по ее потемневшим глазам глубину погружения в омут памяти. По мере того как Паучиха двигалась вспять во времени, она казалась мне все современнее, все ближе, все реальнее. На прятке прошлого она молча выпрядала свою нить и плела причудливые, прихотливые, прекрасные узоры: так она рассказывала о душевных ранах, которые от этого словно бы открывались вновь. Я вдруг почувствовал, что ее память, ее раздумья увлекают меня за собой; это было как излучение, настолько мощное, что оно вырывалось из своей телесной оболочки и пронизывало, захватывало все живое вокруг. После нескольких секунд давления (неравномерного, но неодолимого, невидимого, но физически ощутимого, давления напряженной мысли, из которой пытаешься вывести некий смысл, а быть может, даже некую истину) я понял, что присутствую при спектакле, но его сцена, как мне казалось прежде, может быть только внутренней, спрятанной в глубинах сознания, связанной с мистическим откровением и возможной лишь на символистской картине или в кошмарном сне: *я видел самоанализ*. Душа другого человека приглашала меня в свое внутреннее пространство, обращала взгляд в собственные глубины и готовилась судить себя без всякого снисхождения. Это было вскрытие, где судебный медик и труп совмещались в одном лице; и единственным свидетелем этого видения, этого ощущения, которое можно было бы назвать прекрасным либо ужасным, или прекрасным и ужасным одновременно, был я.

– Это призрак, – сказала вдруг Сига Д., и в ее голосе я уловил голоса всех Сиг Д., которых она встретила в воспоминаниях. – Нельзя встретиться с Элиманом. Он тебе является. Он тебя пронизывает. Он леденит тебе кости и обжигает кожу. Это живая иллюзия. Я чувствовала его дыхание у себя на затылке, дыхание, вырвавшееся из мира мертвых.

Тут я тоже посмотрел на спящий город и, разглядывая его, подумал, что эта ночь чертовски похожа на скверный сон. Я сказал себе, что должен быть готов в любую минуту проснуться на ободранном диване в квартире, которую снимал вдвоем со Станисласом. Это было гораздо правдоподобнее, чем находиться здесь, на балконе роскошного отеля, в обществе великой романистки, владеющей «Лабиринтом бесчеловечности».

– Держи, – сказала Сига Д. И протянула мне книгу.

Я чуть не отшатнулся от испуга.

– Прочти, а потом приезжай ко мне в Амстердам. Береги ее. Не знаю, почему я делаю тебе такой подарок, Диеган Латир Файе. Я тебя едва знаю и все же отдаю тебе, наверное, самое ценное из всего, что у меня есть. Возможно, нам следует владеть им вдвоем. Наша встреча удивительна, мы пришли к ней странными, спрямленными путями, но ее смысл – в этой книге. Возможно, это случайность, возможно, судьба. Одно необязательно противоречит другому. Случайность – это судьба, которую мы не разглядели, судьба, написанная невидимыми чернилами. Так мне сказал когда-то один человек. Возможно, он был прав. Я вижу в нашей встрече проявление жизни. А жизни всегда надо повиноваться, следовать ее непредсказуемыми путями. Все эти пути ведут к одной точке, нашему предназначению, но могут избирать разные маршруты, порой прекрасные, порой ужасные, усеянные цветами или костями, пути, которыми надо идти в темноте и часто в одиночестве, но они дают нам возможность испытать нашу душу. И к тому же... Так редко доводится встретить человека, для которого эта книга что-то значит. Береги ее. Я буду ждать твоего приезда, напиши мне, когда соберешься, чтобы я успела подготовиться. Записку с адресом и телефоном вкладываю в книгу. Ну вот, держи.

«Как только ты коснешься книги, прозвонит будильник», – подумал я. И протянул руку, готовый к тому, что сейчас открою глаза и увижу свою комнату. Но ничего не изменилось, хоть я и держал в руках «Лабиринт бесчеловечности». Книга была оформлена строго и лаконично, как делалось в прежние времена: на белом фоне в темно-синей рамке – имя и фамилия автора, ниже – название, логотип издательства («Джеммини»). На задней стороне обложки я прочел две

фразы: «Т. Ш. Элиман родился в колониальном Сенегале. «Лабиринт бесчеловечности» – его первая книга, первый истинный шедевр негра из Черной Африки, в котором бесстрашно и свободно изображены безумие и красота его родного континента».

Книга была у меня в руках. Я уже видел это во сне, поэтому ждал, что сейчас произойдет еще что-нибудь; но больше ничего не происходило, а когда я поднял голову, Сига Д. смотрела на меня.

– Читай, читай. Ты долго будешь это читать. Завидую тебе. Но и сочувствую.

Она не стала прятать тень, промелькнувшую в ее глазах. А я не стал спрашивать, в чем смысл этих последних слов и сунул «Лабиринт бесчеловечности» в задний карман джинсов, робко произнеся: «Спасибо». Сига Д. заметила, что не знает, надо ее благодарить или проклинать. Я возразил, что она, пожалуй, чересчур драматизирует ситуацию. Тогда она поцеловала меня в щеку и сказала: «Сам увидишь».

Итак, большая муха выбралась из паутины. Дома меня встретила глубокая тишина, которую, однако, время от времени нарушал воинственный, победный храп моего соседа Станисласа. Он был переводчик с польского и уже несколько месяцев трудился над новой французской версией «Фердидурки», замечательной повести его знаменитого соотечественника Витольда Гомбровича.

Я вошел в свою комнату с остатком вина на дне бутылки и включил в телефоне собственную подборку записей любимой группы *Super Diamono*. Нашупал в заднем кармане книгу, достал ее и внимательно рассмотрел. Не то чтобы я не верил в ее существование: бывали ночи, когда я принадлежал ей душой и телом, и такие, когда я цитировал ее большими кусками, ни разу до этого не видев; но бывали и другие, когда ее существование сводилось для меня к чему-то даже менее реальному, чем миф: к предположению, к зыбкой надежде. Чертов «Лабиринт»! Но вот наконец объект моих желаний, которые казались мне наивными и мертворожденными, восстал из праха моих грехов.

Звучала музыка группы *Super Diamono*, и голос Омара Пена подобно расплавленному обсидиану поплыл к рассвету по тихому ночному морю. За ним по сверкающей дорожке следовало *temento mori*⁴, драгоценность, высеченная из застывшей лавы двенадцати минут джаза. «*Da ngau xalat nun fu nuu mijje*» – вспомни, какой конец ждет нас всех, говорилось в песне, подумай о безмерном одиночестве, о сумраке, который нам был обещан и будет дарован. Напоминание столь же грозное, сколь и необходимое, старое, как мир: однако в тот момент я, кажется, впервые в жизни осознал всю его серьезность. И вот, на краю этой пропасти, которую разверзли передо мной *Diamono* и Пен, я начал читать «Лабиринт бесчеловечности».

Было еще темно, хотя над горизонтом уже виднелась белая пена рассвета. Я стал читать; ночь кончилась, не издав предсмертного крика; я продолжил чтение, бутылка опустела; я не решился открыть еще одну и дальше читал только под песни *Diamono*, пока все звезды не погасли в луче света, ворвавшемся в мое окно, пока не исчезли все тени и все островки потревоженной тишины, и не смолкли храп Станисласа и самая древняя протяжная жалоба этой печальной земли, и все человеческие звуки; затем, когда полностью рассвело и моя музыкальная подборка кончилась (но тишина после песен Пена – это поэтическое завещание Пена), я заснул, готовый к тому, что во сне мне привидятся фантастически преобразенные события этой ночи, что я проснусь в мире, который на первый взгляд будет таким, как прежде, но в котором под внешней оболочкой вещей, под кожей времени, все изменится навсегда.

Такими, после вечера, проведенного в сетях Матушки-Паучихи, были мои первые шаги внутри круга одиночества, где властвовали «Лабиринт бесчеловечности» и Т. Ш. Элиман.

⁴ Помни о смерти (лат.).

Часть вторая

Летний дневник

11 июля 2018

Я начал вести тебя, дневник, с одной-единственной целью: рассказать, как истощил меня «Лабиринт бесчеловечности». Шедевры истощают, они должны истощать. Они избавляют нас от ненужного. После прочтения чувствуешь, что у тебя внутри стало просторнее: ты обогатился, но за счет изъятия.

Проснувшись около часу дня, я прочел книгу заново, целиком, натошак, без травы и без магнетизма Сиги Д. И снова испытал потрясение, такое, что остался сидеть у себя в комнате, обессиленный и уничтоженный. Ближе к четырем Станислас заглянул узнать, жив я или нет. Я сослался на головную боль, чтобы оправдать свое расслабленное состояние. Сосед стал перечислять всевозможные средства от похмелья (в этом он разбирался, он же был поляк!). А как вылечить похмелье от книги? Что за книга? И я протянул ему «Лабиринт бесчеловечности». Это ее ты сейчас читаешь? Да. Это она привела тебя в такое состояние? Может быть. Потому что она хорошая или потому, что плохая? Не дожидаясь ответа, он открыл книгу наугад. Прочел две, три, четыре страницы. И остановился. Я взглянул на него с немым вопросом: ну как? Он сказал: «У автора свой язык, и я продолжил бы чтение, но я привык на все смотреть сквозь призму политики». Я спросил: «Анархисты захватят наконец власть»? Он сказал: «Нет, они ее свергнут». Я сказал: «Зачем?» Он ответил: «Чтобы отдать». Я спросил: «Кому?» Он заявил: «Народу». Я спросил: «А кто это – народ?»

Переводчик ушел, так и не сказав, кто это – народ. А я снова, до изнеможения, принялся перечитывать книгу. Она, неисчерпаемая, глядела на меня оценивающим взглядом, словно череп на кладбище ночью. Когда закрываешь «Лабиринт бесчеловечности», он как бы обещает тебе продолжение, продолжение, которое я, быть может, никогда не прочту.

Чтобы понять, в чем тут дело, достаточно было позвонить Сиге Д. Но я не сдамся так быстро. Пусть книга сама раскроет мне себя. Я помню печальный взгляд Матушки-Паучихи в тот момент, когда она мне ее вручила. И ее слова: «Завидую тебе. Но и сочувствую». «Завидую» значило: ты спустишься по лестнице, которая ступенька за ступенькой приведет тебя в самые глубины твоей человеческой сути. А «сочувствую» – когда до тайны будет рукой подать, ступеньки погрузятся во мрак, и ты останешься один, и у тебя не будет ни желания подняться, ибо тебе откроется никчемность жизни наверху, ни возможности продолжить спуск, ибо тьма поглотит лестницу, ведущую к разгадке.

Я закрыл книгу и открыл на первой странице тебя, Дневник.

12 июля

Этим утром мне надо было зайти в Сенегальское консульство и отметить в отделе студенческих стипендий, чтобы получать ее еще в течение года. Потом придется решать, что делать дальше: найти настоящую работу, или снова взяться за диссертацию и довести ее до ума, или жить на улице, или пойти на содержание к богатой пожилой тетке, помешанной на африканской экзотике, или написать историю деградации личности, замаскированную под руководство по развитию личности. Или подохнуть. А потому да здравствует милосердное отечество, которое поддерживает мое существование!

Потом я зашел в библиотеку просмотреть перечень значительных произведений, вышедших во Франции в 1938 году. И увидел впечатляющую картину достижений французской лите-

ратуры, поэзии и философии: Бернанос, Ален, Сартр, Низан, Грак, Жионо, Эмме, Труайя, Ева Кюри, Сент-Экзюпери, Кайуа, Валери... Какие имена! Но я не нашел никаких упоминаний ни о Т. Ш. Элимане, ни о «Лабиринте бесчеловечности».

Когда я вернулся, Станислас был дома, и я не мог не возобновить вчерашнюю беседу. Он спросил, о чем эта книга. Я не ждал от него этого вопроса, который вообще-то терпеть не могу. Тем не менее надо было что-то отвечать, и я, помедлив, произнес несколько высокопарных фраз, где каждое слово как будто начиналось с большой буквы, что-то вроде: «Об одном Человеке, о кровожадном Короле; этот Король одержим жаждой Власти и готов на абсолютное Зло, чтобы добиться своего; но он обнаруживает, что даже пути абсолютного Зла приводят его к Человечности».

После этой тирады Станислас несколько секунд смотрел на меня, затем произнес: «Это ничего не значит. Дам тебе совет: никогда не пытайся рассказать, о чем та или иная великая книга. А если все же захочешь, вот единственно возможный вариант: ни о чем. Великая книга, она всегда ни о чем, но в ней – всё. Не попадайся больше в эту ловушку, не пытайся объяснить, о чем книга, если чувствуешь, что книга – великая. По общему мнению, книга обязательно должна о чем-то рассказывать. Но правда в том, Диеган, что только посредственная, или скверная, или банальная книга рассказывает о чем-то. У великой книги нет сюжета, она ни о чем не рассказывает, она лишь стремится выразить или открыть нечто, но это «лишь» уже содержит в себе всё, и в этом «нечто» опять-таки заключено всё».

15 июля

Франция выиграла чемпионат мира по футболу и зажгла свою вторую звезду на небе, где уже сияло столько звезд. Я посмотрел финал вместе с Мусимбвой, потом мы пошли в маленький африканский ресторанчик с приличной кухней и посредственным сервисом; атмосферу создавал старик, игравший на кóре; его репертуар состоял из одной-единственной баллады, длинной и с бесконечными повторами.

Когда-то конголезец Мусимбва занимал нишу «молодого африканского писателя с большим будущим». Он на три года старше меня и уже написал четыре книги, которые были с восторгом приняты не только нашим «гетто», но и критикой во внешнем мире. После успеха первого романа он бросил работу бармена, чтобы отдать себя литературе, как монашка отдает себя Богу.

Помнится, я относился к нему с недоверием, а вначале даже с ненавистью, когда он, словно метеор, ворвался в литературную среду, собирая премии, аплодисменты и лавры с безразличием, которое можно было объяснить как смирением, так и наглостью. Этот Мусимбва, говорил я, просто поймал волну, а когда мода на него пройдет, его вынесет на берег и о нем забудут, как забыли о многих других, кому раньше пели дифирамбы. Разумеется, на тот момент я не прочел ни строчки Мусимбвы. Но после первой строчки ревность сменилась у меня завистью, зависть – восхищением, а восхищение порой переходило в безграничное отчаяние, вызванное уверенностью, что я никогда не смогу проявить такой талант. На мой взгляд, он, бесспорно, первый среди равных, лучший в нашем поколении.

Когда я опубликовал «Анатомию пустоты», Мусимбва, будучи еще не знаком со мной, стал первым писателем, который высказался о моей книге. Он дал о ней восторженный отзыв, всячески ее рекомендовал, и, хотя его мнение имело меньший вес, чем даже крошечная заметка в «Монд-Африка», для меня было важно именно его слово, слово писателя. Мы с ним встретились и обнаружили, что у нас один и тот же круг чтения, антипатии одинаковые, а разногласия минимальные, что у нас общие вкусы, что мы оба склонны к здоровому соперничеству, готовы соревноваться, но по-дружески, по-мужски, иногда с выяснением отношений; что мы почти ровесники и любим шататься по ночам в разношерстной и странной компании. И

все же глубинной основой нашей дружбы стала незыблемая вера в мощное творческое начало жизни, которое для нас воплощалось в литературе. Нет, мы не думали, что литература спасет мир; напротив, мы думали, что она – единственная возможность не спастись от мира.

Итак, я ужинал с ним после матча и очень скоро завел разговор на интересующую меня тему.

– Как, ты говоришь, его зовут?

– Т. Ш. Элиман.

– Нет, это мне ничего не говорит. А как называется книга? «Лабиринт бесчеловечных»?

– «Лабиринт бесчеловечности»! Я несколько раз повторил первый абзац: «Вначале было пророчество, и был Король; и...» Увы, Мусимбва явно никогда не читал этих строк. Я хотел рассказать ему историю романа, по крайней мере ту незначительную ее часть, которую я знал. Но тут же понял, что не смогу: этот рассказ пожирал меня изнутри. Эту историю нельзя было ни пересказать, ни забыть, ни обойти молчанием. Но что делать с тем, что не поддается ни пересказу, ни забвению, ни умолчанию? Кажется, Витгенштейн высказался по этому поводу. Вот его слова: если о чем-то нельзя говорить, об этом следует молчать; ну, предположим, но, если о чем-то нельзя ни говорить, ни забыть, ни молчать, что же с этим делать, герр Витгенштейн? Я не знаю; но знаю, что, если о чем-то нельзя ни забыть, ни рассказать, ни умолчать, человек от этого страдает и в конце концов умирает, а мне не хотелось ни того, ни другого. Поэтому я сообщил только то, что знал, то есть, в сущности, очень мало, однако умолкнув, не почувствовал ни облегчения, ни грусти, а только усталость, физическую и душевную, как если бы этот маленький кусок жизни весил тонны и длился тысячелетия и во время рассказа давил на меня своей многовековой массой. Мусимбва со всей серьезностью, как будто делал признание, сказал, что никогда не верил в существование проклятых литературных гениев, которые писали, стремясь достигнуть сердца тишины, погрузиться в бездну забвения. Он сделал паузу, а затем, глядя в окно и словно бы обращаясь не ко мне, а к темноте, к какой-то невидимой ночной сущности, продолжал:

– Желание самоуничтожиться в творчестве не всегда признак смирения. Жажда небытия может быть и признаком тщеславия... Но постой: ты уже прочел этот «Лабиринт бесчеловечности»? Думаю, нет, ведь ты сказал, что книгу уже несколько десятилетий невозможно найти.

– А я нашел.

Я рассказал ему о ночи с Сигой Д., затем достал книгу из кармана и протянул ему. Мусимбва изучающе взглянул на меня, словно прикидывая, не собрался ли я сыграть с ним какую-нибудь скверную шутку. Я сказал, что выйду на улицу и немного прогуляюсь. Он взял книгу и тут же открыл.

Я вышел навстречу парижской ночи, ее жаркому дыханию, накатывающему волнами запаху пива, ее чистой радости, взрывам чистого смеха, ее дурману, ее иллюзиям, будто ты живешь в вечности или в одном мгновении. Но всеобщее ликование стало меня раздражать, настроение испортилось. Я никогда не умел веселиться подолгу. Коллективные восторги, массовые празднования, приступы бешеного энтузиазма часто погружали меня в беспросветную меланхолию. Стоило мне ощутить опьянение или радость, как передо мной тут же представала их жалкая изнанка. Поэтому я радовался лишь до тех пор, пока темная сторона происходящего была от меня скрыта: грусть перед праздником, грусть после праздника, грусть во время праздника – ведь он неизбежно закончится (этот момент так же ужасен, как тот, когда улыбка исчезает с лица), грусть, знакомая всем жителям белого света, с которой мы боремся, словно тени, каждый по-своему. Иногда я как-то принаравливался к этому состоянию. В других случаях просто заглушал его, беззаботно и яростно бросаясь в вихрь веселья. Но чаще всего – как, например, этим вечером, – не мог ему противостоять. Я сел на скамейку, просто надеясь, что чуть погода не только поднимусь физически, но и воспряну духом. Затем глубоко вздохнул и

легко, словно суппозиторий, углубился в уже смазанную задницу мира – все мы, как можем, воспроизводим опыты Паскаля.

Литература явилась мне в облике женщины непомерной красоты. Я, заикаясь, дал понять, что искал ее. Она с глумливым смехом ответила, что не принадлежит никому. Я встал на колени и взмолился: «Проведи ночь со мной, одну-единственную ночь». Она исчезла, не сказав ни слова. Я бросился за ней, полный решимости и гордыни: «Я поймаю тебя, усажу на колени, заставлю смотреть мне в глаза, я стану писателем!» Но во время погони каждый раз настает момент, когда в темноте вдруг раздается голос, поражающий вас, как удар грома; этот голос открывает или напоминает вам, что желания недостаточно, таланта недостаточно, честолюбия недостаточно, владеть пером недостаточно, быть начитанным недостаточно, быть знаменитым недостаточно, обладать большой культурой недостаточно, быть мудрым недостаточно, убежденности недостаточно, терпения недостаточно, опьянения жизнью недостаточно, уклонения от жизни недостаточно, веры в мечту недостаточно, скрупулезного анализа реальности недостаточно, глубокого ума недостаточно, впечатлительности недостаточно, даже если вам есть что сказать, этого недостаточно, как и напряженной работы; а еще голос говорит, что все это, конечно же, может быть и часто бывает условием, преимуществом, особенностью, силой; однако, продолжает голос, ни одного из этих качеств не бывает достаточно, когда речь идет о литературе, ибо для того, чтобы писать, всегда нужно нечто иное, нечто иное, нечто иное. Затем голос смолкает и оставляет вас посреди дороги с одним только перекатывающимся, убегающим эхом этих слов – «нечто иное»; «чтобы писать, всегда нужно нечто иное», в этой ночи без уверенности в грядущем утре.

Два часа спустя я снова пошевелился. Испытание близилось к концу. Я нашел в себе силы отряхнуться, как зверь после дождя, и выбрался из мистического маринада, в котором держала меня скамейка. Вернулся в африканский ресторан. Музыкант все еще наигрывал свои гаммы. Мусимбва будто прирос к столику. Ему оставалось прочесть несколько страниц. Я заказал крепкий кофе и стал ждать. Через двадцать минут Мусимбва поднял на меня глаза, одновременно испуганные и восхищенные, затем произнес: «Черт возьми, а где продолжение?» Я ответил, что, насколько мне известно, продолжения не существует. В его взгляде пролегла большая печальная тень, и я не знаю, в чем тут была причина: в том, что у «Лабиринта бесчеловечности» отсутствовал финал, или в том, что этот неоконченный роман оказался таким прекрасным. Мы просидели несколько секунд, молчаливые и серьезные. Хозяин, извинившись, сказал, что ему пора закрывать, музыкант убрал кору в шкаф, Мусимбва заплатил по счету, и мы с ним вышли.

Две-три минуты мы шагали по улице молча, и вдруг Мусимбва с необычным воодушевлением заявил, что «Лабиринт бесчеловечности» надо дать прочесть всем нашим сверстникам. Эта книга сделает нас свободными. Я ничего не сказал, но мое молчание было выразительнее самого восторженного «да».

Для чего продолжать, зачем писать после того, как за минувшие тысячелетия появились такие книги, как «Лабиринт бесчеловечности», которые создают ощущение, что к написанному нечего прибавить? Ведь мы пишем не ради романтики писательской жизни – она превратилась в самопародию, не ради денег – это равносильно самоубийству, не ради славы – устаревшей ценности, которой наше время предпочитает «звездный статус», не ради будущего – оно нас об этом не просило, не для того, чтобы переделать мир – это не его надо переделывать, не для того, чтобы изменить жизнь – она не меняется, не во имя идеи – оставим это героям, не во имя искусства – искусство ради искусства это иллюзия, искусство всегда имеет цель. Для чего же тогда? Мы не знали; и в этом незнании, возможно, и был наш ответ; мы занимались писательством ровно потому, что не знали, что делать в этом мире, кроме как писать, без всякой надежды (но и без готовности слишком быстро сдать), с упорством, самоотречением, радостью, стремясь лишь к одному – продержаться, то есть жить с открытыми глазами, все

видеть, ничего не упускать, не моргать, не прятаться под веками, несмотря на риск ослепнуть от желания видеть все, но не так, как видит свидетель или пророк, а как хотел бы видеть часовой, одинокий, испуганный часовой, охраняющий никому не нужный, затерянный городок, но тем не менее напряженно вглядывающийся в темноту, откуда сверкнет вспышка, несущая смерть ему и гибель его городу.

Затем мы долго обсуждали неоднозначную – местами комфортную, местами унижительную – специфику нашего положения африканских писателей (или писателей африканского происхождения) во французской литературной среде. Мы возлагали ответственность за это на наших старших коллег, писателей-африканцев предыдущего поколения (не вполне справедливо, но они представляли собой очевидные и удобные мишени): от них нам передалась убежденность, что мы неспособны или не вправе (что почти то же самое) заявить во весь голос, откуда мы пришли; а еще мы обвиняли их в том, что они привыкли смотреть на себя исключительно чужим взглядом, взглядом, превратившимся для них в ловушку, которая требовала, чтобы они сохранили самобытность, то есть непохожесть – но при этом обладали некими типическими чертами, то есть были понятными (иначе говоря, продаваемыми в западном мире, где им приходилось существовать); наш критический настрой был правильным, то есть безжалостным, а на верном пути останавливаться не следует, и мы выразили сожаление, что некоторые из наших предшественников, желая угодить публике, ударились в негритянскую экзотику, а другие, пытаясь соответствовать двум несовместимым требованиям – быть африканцами, но не быть ими чересчур, – создавали себе искусственную идентичность, то есть переставали быть писателями, а за такое наш суровый суд уже готов был приговорить их к любому наказанию (вплоть до высшей меры), и в итоге мы решили, что в своих претензиях на идейность они дошли до самопародии, а в потугах на поэтичность – до вполне себе буржуазной беллетристики; что их худосочный реализм лишь воспроизводит мир, не стремясь ни объяснить его, ни создать заново, что они пытаются скрыть свой эгоизм за разговорами о свободе художника; мы обрушивали карающий меч на головы предшественников, чьи пошлые романы стали оскорблением для литературы, кто так и не задался вопросом, в чем состоит его миссия писателя, кто не смог создать условия для рождения новаторских эстетических принципов в наших текстах (им не хватило остроты литературной мысли, глубины осмысления себя в литературе: им слишком нравилось гоняться за литературными премиями, за дифирамбами критиков, за приглашениями на светские приемы и фестивали, за субсидиями, чтобы симитировать или уворовать хоть сколько-то настоящей литературы; они были слишком невнимательными читателями или слишком снисходительными друзьями, чтобы читать друг друга и честно говорить, что не так, слишком малодушными, чтобы рисковать важными связями из-за романа, стихотворения, из-за чего бы то ни было – личного дневника, эссе, сайенс-фикшна, детектива (с пьесой, к счастью, вопрос решался гораздо проще) или переписки – как если бы сложность их положения, необходимость усидеть на двух стульях делала их абсолютно бесчувственными, – ах, эти наши предшественники, которым досталось столько похвал и наград, которых столько раз называли свежей кровью в жилах французской литературы, ах, это чертово везучее поколение: мы рассматривали их при ярком свете, приближали к огню – и их золото плавилось, оказываясь фальшивым, или рассыпалось в прах; нам становилось очевидно: многие их бестселлеры были переоценены либо не оправдали надежд; тех из них, кто выдержит испытание временем, было меньше, чем пальцев на руке мастера Йоды; нам становилось ясно: они не опубликовали ничего, кроме милых книжечек, которых все от них ждали, они назначили нас своими наследниками, но ничего нам не завещали, все они, когда писали, чувствовали себя свободными, при том что их запястья, щиколотки, шеи и умы были сдавлены тяжелыми кандалами; ах, эти наши славные предшественники... «Постойте: разве во всем этом только их вина? – вдруг спохватывались мы. – И разве не было у них смягчающих обстоятельств?» – вопрошали мы в порыве великодушия и призывали к ответу их недостойных сообщников: прежде всего

– часть их африканской читающей аудитории, которую мы без колебаний признали худшей в мире, не имеющей привычки к чтению, ленивой, карикатурной, непомерно агрессивной, как всякое меньшинство, претендующее на достойное представительство, но не имеющее для этого никаких оснований; за этими читателями-африканцами следовали читатели западные (решились ли произнести слово *белые?*), относившиеся к чтению африканских авторов, как к благотворительной акции, любившие, чтобы их развлекали или чтобы им живописали этот бескрайний мир с красочностью, присущей африканцам, у которых перо подчиняется ритму, которые умеют вести повествование, словно сказители при лунном свете, африканцам, которые ничего не усложняют, африканцам, которые еще не разучились трогать сердца волнующими историями, африканцам, которые не так часто зациклены на себе, как писатели-французы; ах, эти чудесные африканцы, которых так любят за их творчество, за их колоритные личности, за белозубую улыбку и звонкий смех, вселяющие надежду; после романистов мы повели на эшафот критику (литературоведов, журналистов, культурологов) и опустили гильотину на ее хрупкую шею, ибо это была самая скучная критика в мире, критика, загонявшая авторов в придуманные ею проблематику и тематику, два узких туннеля, по которым эти бедняги брели, словно скот, сгибаясь под тяжестью концепций, задыхаясь от сального жаргона и однообразных сюжетов; так, под мирным небом с белоснежными облаками образы наших писателей, читателей и критиков старшего поколения всех национальностей и всех цветов кожи реяли над нами, как зловещие созвездия или как стая скворцов, и только в эти мгновения, покрытые дымящейся кровью, словно древние варвары на багровом, затихшем поле битвы, только в этот момент, усталые, еще слегка пьяные от недавней резни, глядя на разбросанные по земле трупы исписавшихся писателей и разучившихся читать читателей, мы раскаялись в своей жестокости: кто мы такие, чтобы судить так сурово, прямолинейно и категорично тех, без кого нас вообще не было бы? Чтобы заявлять, будто мы ничем не обязаны нашим предшественникам, тогда как мы перед ними в неоплатном долгу? Кто, кто, кто? – снова и снова, точно эхо, повторяли мы, хотя уже знали ответ. Кто мы? Два юных идиота, едва успевших вступить в литературу и решивших, будто им все дозволено; два новичка, которые скоро превратятся в ветеранов и будут в свою очередь растерзаны в клочья молодыми волчатами, ибо так создан мир; а мы в этом мире не представляем собой ничего, разве что пылинки в литературной бесконечности, и мы это знаем, так почему же мы отозвались о них так резко, высокомерно и несправедливо, хотя сами, скорее всего, ничем не лучше? – спрашивала наша совесть, и мы отвечали: потому что, как любые писатели, боимся, что ничего не создадим, ничего не оставим после себя, и на самом деле мишенью наших нападок были мы сами, а их причиной – наш страх оказаться не на высоте поставленной задачи, потому что мы чувствовали, что забрели в пещеру, откуда нет выхода, и мы можем сдохнуть в ней, как крысы.

Мы устроились на террасе другого бара и продолжили разговор о книге. Перед тем как попрощаться, мы пообещали друг другу встретиться у одного из нас через несколько дней, чтобы открыть Т. Ш. Элимана для африканских писателей нашего поколения.

23 июля

Из моих сверстников-литераторов – я имею в виду молодое поколение африканских писателей, живущих в Париже, – больше всех, если не считать Мусимбвы, мне нравилась Беатрис Нанга.

Конечно, был еще Фостен Санца, великан из Конго, которого я при первой встрече принял за вестника апокалипсиса. Но Фостен оказался кое-чем пострашнее: автором исповедальной лирики. Пятью годами ранее он опубликовал книжку на семидесяти двух страницах под названием «Развесистый миндаль», эпическую поэму, написанную гекзаметром, где было полно диковинных, забытых слов. Этим его интерес ко всяким редкостям не исчерпы-

вался. Если поэт употребляет архаизмы ради позы, его можно разоблачить в один момент, как женщину, которая в постели симулирует удовольствие (по крайней мере, мне так кажется). «Миндаль» не имел успеха. На этом карьера поэта для Санцы закончилась – не потому, что читателям не понравились его стихи, напротив, он считал, что, если книгу прочли больше ста двадцати человек, с ней что-то неладно, – просто он разочаровался в поэтическом слове. Чувства высказать нельзя. Так он говорил. И в поисках истины вернулся к своей первой любви – математике, которую стал преподавать в лицее. Теперь он писал только критические статьи, часто для того, чтобы умело и беспощадно разоблачать литературных самозванцев и мистификаторов. Идеалом и примером для него был Этьембль.

Я помню его рецензию на «Черный как сажа», последний роман Уильяма К. Салифу, одного из самых известных писателей современной Африки. Двадцатью годами ранее Салифу опубликовал «Меланхолию песка», великолепный роман, принесший ему мировую известность. Он был переведен на сорок языков, включая даже сильбо, свистящий язык канарского острова Гомера. Голливуд, понятное дело, приобрел права на экранизацию. Варгас Льоса и Салман Рушди, Тони Моррисон и Кутзее, Ле Клезио, Сьюзен Зонтаг, Воле Шойинка, Дорис Лессинг – все объявили «Меланхолию песка» шедевром. Даже вспыльчивый и гениальный сэр Видиадхар Найпол, по его собственному признанию, не думал, что когда-нибудь ему доведется прочесть произведение такой глубины, вышедшее из-под пера африканца.

Через два года Салифу выпустил вторую книгу. Это был такой грандиозный провал, что самые добросердечные люди объяснили его досадной случайностью: в конце концов, и у мастеров бывают срывы. Но позже один за другим вышли еще два романа, которые оказались такими же неудачными. Звезда Салифу закатилась так же быстро, как вспыхнула: возникло подозрение, что первую книгу за него написал кто-то другой. Салман Рушди отреагировал на эти слухи лаконичным и убийственным твитом, а Стивен Кинг и Джойс Кэрол Оутс его ретвитнули. Старый нобелиат Найпол, язвительно хихикнув, написал фразу, которая начиналась так: «Я был поражен высоким уровнем первой книги африканца Салифу», а заканчивалась по древнему принципу *in cauda venenum*⁵: «Посредственность в литературе – как природа: даже если ее удастся скрыть на время написания одной книги, она всегда возвращается, причем без промедления». Сочинения Салифу, смесь детектива и любовного романа, становились все более серыми и неудобоваримыми; и все-таки их, конечно же, продолжали читать; люди не забыли о блистательной «Меланхолии песка»; но автора все реже принимали всерьез. Я читал каждую его новую книгу, надеясь найти в ней то же волшебство или, по крайней мере, мастерство, которое было в первой. Но блеск «Меланхолии песка», казалось, исчез безвозвратно.

Когда вышел последний роман Салифу, критика по привычке встретила его хором лицемерных похвал (зачем читать книгу человека, за которым давно утвердился статус знаменитости?), и только Санца написал на него жесткую рецензию. Досталось всем: первым делом, разумеется, бедняге Салифу с его романом, но также журналистам и критикам, которые больше не анализируют книги, а воскуряют им фимиам, навязывая идею, будто все литературные произведения по сути равноценны, и если мы воспринимаем их по-разному, то только в силу субъективных вкусовых критериев; будто плохих книг вообще не бывает, за исключением тех, что нам почему-то не понравились; а также авторам, которые напрочь забыли о работе над языком, над созданием образов и знай себе штампуют плоские копии реальности, не требующие никаких мыслительных усилий от всемогущей и деспотичной абстракции под названием «Читатель»; а также читательской массе, которая ищет в книгах доступное удовольствие, развлечение, примитивные эмоции, какие можно выразить в упрощенных фразах – фразах, которые, писал Санца, редко состоят больше чем из девяти слов, с глаголами только в изъяснительном наклонении и настоящем времени и по возможности без придаточных предложе-

⁵ Яд – в хвосте (лат.).

ний; а также издателям, этим рабам рынка, для которых дело жизни – заказывать и продавать стандартизированный продукт, вместо того чтобы возвращать самобытность в литературе. Все эти упреки были стары как мир, но благодаря таланту Фостена Санцы прозвучали ново и свежо. Разумеется, объекты его критики не замедлили с ответом и не пожалели сильных выражений. Элитарист! Реакционер! Человеконенавистник! Животное! Эссенциалист! Параноик! Мракобес! Сноб! Упрощенец! Манипулятор! Фашист! Интеллигентик! Карикатура! Завистник! Пустышка! Очковтиратель! Но Санца выдержал удары с тем же мужеством, с каким наносил сам.

В нашей группе молодых писателей выделялась еще Ева (или Ава) Туре, влиятельная дама из французской Гвинеи, о которой можно сказать много – и в то же время мало. Ева Туре участвует в любой разновидности борьбы за правое дело, какая ведется сейчас в мире; кроме того, она предприниматель, тренер по личностному росту, *plus-size*⁶-модель и вообще само совершенство. А поскольку в наше время литературное недержание стало одной из самых распространенных болезней, то не следует удивляться, что Ева взялась за перо. В итоге появилась «Любовь – это какао-боб», которую я считаю методическим отрицанием самой идеи литературы. Сочетание мощного снотворного эффекта с абсолютной пустотой. Но этот роман стал бестселлером. Дело в том, что у Евы Туре было двести тысяч подписчиков, и для ее преданной аудитории все, что от нее исходило, было как манна небесная. Перед этой ордой фанатичных поклонниц отступали самые свирепые критики. На еретиков, посмеявшихся подойти к творению богини с обычными мерками, ее жрицы обрушивали в социальных сетях лавины дерьма. Даже Санца, чтобы избежать этой участи, не стал публиковать уже написанную рецензию на «Любовь – это какао-боб».

Итак, в нашем кружке выделялись эти двое, но Беатрис Нанга была значительнее их. Мы с Мусимбой считали, что из нас всех у нее самый оригинальный литературный мир. Сразу уточню: никто из нашей группы с ней не спал – по крайней мере, насколько мне известно, хотя из наших разговоров нетрудно было догадаться, что каждый только об этом и мечтает. Беатрис Нанга тридцать лет, у нее сын, которого она воспитывает при участии бывшего мужа. Она родом из Камеруна. Не знаю, красива ли она, но ее постоянно окружает дурманящая аура сексуальности. Необъятная тесситура ее голоса поражает меня на клеточном уровне. От вида ее великолепного тела кровь у меня в жилах течет в обратную сторону. Она написала два эротических романа: «Священный овал» (название заимствовано из «Лона Ирены» Луи Арагона) и «Дневник помешанной на ягодицах», которые я прочел залпом и сразу же полюбил всей душой. Беатрис ревностная католичка. Как-то она мне сказала, что ее любимая поза в сексе – «кубистский ангел» и что однажды мы с ней это попробуем. Я, как мог, пытался выяснить, что это за поза, но мои усилия не дали результата. Есть скульптура Дали с соответствующим названием, однако нельзя представить себе, чтобы кто-то в такой позе занимался сексом. Быть может, Беатрис Нанга это выдумала? И позы «кубистский ангел» не существует? Загадка.

Вот каким был наш кружок. Мне не казалось, что мы сознательно следуем каким-то общим для всех эстетическим принципам или стремимся их выработать; каждый шел в литературе своим путем, и все же нечто невидимое словно бы сплотило нас навсегда. Не знаю, что это было. Возможно, смутное ощущение, что мы движемся к катастрофе. Возможно, впечатление, что мы должны быстро вернуть нашей литературе былую мощь – либо пережить унижение, войдя в историю как ее убийцы или, что еще хуже, могильщики (убить просто, но закопать!..). Возможно, тяжелое предчувствие, что некоторым из нас предстоит долго выдерживать противостояние с чудовищем по имени Литература, а остальные сойдут с пути или повернут назад. Возможно, молчаливая констатация того факта, что мы, африканцы, в Европе чувствуем себя чужими и несчастными, хоть и делаем вид, будто мы всюду как дома. Или нас связывала

⁶ Зд.: с пышными формами (англ.).

уверенность (либо надежда), что наши встречи в конце концов превратятся в коллективные сексуальные игры.

Итак, вчера, после того как мы узнали самые свежие сплетни о нашей литературной диаспоре и отдали дань ехидной, изысканной, но пустой болтовне, Мусимбва озвучил главную цель нашей встречи. Элиман.

Один только Санца, хоть и не совсем точно, знал это имя. Мусимбва попросил меня рассказать его историю. Присутствующие слушали меня завороженно и в то же время с недоумением, а когда я закончил и наступила пауза, Мусимбва без предупреждения начал читать «Лабиринт бесчеловечности». Он читал три часа, не останавливаясь. После чтения какое-то время все ошеломленно молчали, затем разразилась бурная дискуссия. Мы спорили яростно и безудержно, не брезгуя запрещенными приемами и нецензурной бранью.

Споры затянулись до глубокой ночи, жесткие и бескомпромиссные. Я подумал, что мир, где в спорах из-за книги можно забыть о времени, еще не совсем прогнил, хоть я и понимал, что потратить вечер на разговоры о литературе – в высшей степени бездарно, нелепо и, быть может, даже безответственно. Кругом бушуют конфликты, планета задыхается, люди медленно умирают от голода и жажды, дети смотрят на трупы родителей; множество крохотных жизней, микробы, крысы обречены на пожизненное заключение в смрадных канализационных стоках; реальность никто не отменял, за рамками литературы существует океан дерьма, а мы, писатели Африки, континента, который именно там и плавает, рассуждаем о «Лабиринте бесчеловечности», вместо того чтобы конкретно бороться за возможность оттуда выбраться.

Однажды вечером, когда мы до изнеможения выясняли, в чем реальная ценность поэзии Сенгора, я признался Мусимбве, что порой у меня сжимается сердце от стыда, когда я думаю, что мы с ним сидим тут и болтаем о литературе, как будто от этого зависит наша жизнь или как будто это самая важная вещь на свете. После короткой паузы мой друг ответил:

– Понимаю тебя, Файе, у меня тоже иногда возникает такое чувство. Ощущение, что я какой-то непристойный, замаранный. – На несколько секунд он умолк, затем продолжал: – Еще нас можно упрекнуть в том, что мы так много говорим о литературе потому, что не умеем ее создавать либо наш творческий мир пуст. На свете столько так называемых писателей, которые в разговорах о литературе проявляют больше таланта, чем за письменным столом, столько поэтов, которые маскируют свое творческое убожество, эффектно комментируя чужие стихи, нанизывая цитаты, демонстрируя никому не нужную эрудицию... Это правда, Файе, это правда: проводить вечера в разговорах о литературе, спорах о литературной среде и ее маленькой человеческой комедии – это может показаться подозрительным, нездоровым, скучным, даже жалким. Но если писатели не говорят о литературе, то есть не говорят о ней изнутри как профессионалы, как те, кто ею живет, кто ею бредит, кто ею одержим, кого она превратила в маньяка, для кого она – всё, даже если это «всё» иногда принимает вид банальной житейской истории или пустяка, – кто же тогда будет о ней говорить? Быть может, этот аргумент – недопустимый, отвратительный, буржуазный, однако с ним нельзя не согласиться. В этом наша жизнь: прежде всего, конечно, заниматься литературой, но также и говорить о ней, потому что говорить о ней – значит поддерживать в ней жизнь, а пока будет продолжаться жизнь литературы, наша жизнь, пусть и бесполезная, пусть и трагикомичная, пусть и ничтожная, не пропадет даром. Надо делать вид, что литература – самая важная вещь на земле, так иногда и случается, редко, но случается, и некоторые могут это засвидетельствовать. Такие свидетели – мы с тобой, Файе.

Эти слова не всегда могли меня утешить, но я старался вспоминать их почаще.

Споры продолжались. Мы с Мусимбвой утверждали, что роман – произведение эпохальное; Беатрис находила его слишком мудреным; Санца считал его отвратительным, хоть и признавал, что там есть гениальные озарения; Ева Туре ничего существенного не сказала, но по ее взгляду я понял, что ничего существенного она и не думала. Около трех часов утра она попросила нас позировать для группового фото, которое затем выложила в Сеть с подписями: #писа-

тельство #newgeneration #чтение #оставайтесьснами #литературныйужин #лабиринт #личност-
ныйрост #Африка #накрайночи #книгоман #nofilter #Evafamily.

Вечер окончился, но в последующие дни мы встречались еще несколько раз – то у одного, то у другого из нас, либо в каком-нибудь баре, чтобы обменяться мнениями о книге и поделиться мечтами о писательстве.

31 июля

Сегодня, Дневник, я сделал то, чего боюсь больше всего на свете: позвонил родителям. Мама: «У тебя проблемы?» Я: «Нет, все хорошо». Мама: «Правда?» Сын: «Правда». Она: «Ты звонишь просто так?» Он: «Да, узнать, как вы». Мама: «Ах, Латир, это-то меня и настораживает. У тебя все в порядке, ты уверен?»

Когда мы связываемся по скайпу, родители сидят рядом и держат телефон так, чтобы я видел на экране часть лица каждого. И я вижу как бы одно родительское лицо. Когда я замечал, как оно стареет, у меня сжималось сердце и хотелось отключить картинку. Но это ничего не изменило бы; их голоса тоже старели: будто на стенах времени обозначались длинные трещины. Я дал себе слово, что буду звонить чаще. Я делал это каждый раз, хотя знал, что не сдержу слова. Мама полушутя говорила, что у меня слабо развито чувство семьи. Горькая шутка: в ней скрывался упрек. Папа не говорил мне по этому поводу ничего и тем самым говорил все. Ни один из них не мог понять, почему я подолгу не звоню. Мне это казалось естественным: я исполнял ритуал, который многие дети должны выполнять по отношению к родителям в определенный момент своей жизни: ритуал неблагодарности.

А еще в этом проявлялась моя наивность: я думал, будто мои родители всегда в моем распоряжении. Если я раз за разом откладывал звонок на потом, то, возможно, поступал так из несокрушимой уверенности, что скоро увижусь с ними, а значит, нет надобности названивать им каждый день, поскольку день, когда я окончательно вернусь к ним, уже близок. Но этот день был словно мираж в пустыне изгнания. Когда в призрачной надежде на скорую встречу я в очередной раз откладывал звонок, в реальности эта встреча отодвигалась все дальше. У меня уже наступила терминальная стадия эмиграции: я больше не верю, что смогу вернуться; когда-то я убедил себя в неизбежности возвращения, в возможности возместить время, проведенное вдали от семьи. Эти мечты помогают мне жить и в то же время убивают: я делаю вид, будто верю, что скоро вернусь домой, что там все осталось как было и я смогу нагнать упущенное. Возвращение, о котором мечтаешь – это безупречный, а следовательно, плохой роман.

Что-то умирает. Покинутый мной мир исчез, едва я повернулся к нему спиной. Поскольку раньше я жил в этом мире, поскольку я зарыл там, словно сокровище, свое детство, я думал, что мой дар сам по себе должен сделать его неизменяемым. Я думал, что он будет вечно хранить верность моей прежней жизни. Это была иллюзия: прежний, любимый мир не подписывал со мной договор о верности. Не успел я уехать, как он уже начал отдаляться по туннелю времени. Я наблюдаю за его разрушением: в такие минуты больше всего меня удручает не сам факт разрушения этого мира – раз этот мир был живым, значит, он был смертным, – а то, что он разрушился так легко, хотя я думал, что дал ему возможность продержаться.

Изгнанника постоянно мучит географическая разлука, удаленность в пространстве. Но фундамент его одиночества закладывает главным образом время; он обвиняет километры, а на самом деле его убивают дни. Я согласился бы находиться в ста миллиардах миль от лица моих родителей, если бы у меня была уверенность, что время, касаясь этого лица, не исказит его. Но это невозможно; появляются морщины, слабеет зрение, ухудшается память, надвигаются болезни.

Как воссоединить наши жизни? Писать друг другу письма? «Письмом» называют не только послание, но и способ отображать действительность с помощью Слова. Сможет ли

Слово сократить внутреннюю дистанцию между нами? Пока что эта дистанция только увеличивается, несмотря на Слово и всю его магию.

Некоторым эмигрантам стоит пожелать, чтобы они никогда не возвращались, хотя это их самое горячее желание: если оно сбудется, они умрут от горя. Мне не хватало моих родителей, но я боялся позвонить им; время шло; с одной стороны, мне было грустно оттого, что я не слышу, как они рассказывают о своей жизни, с другой, я панически боялся это услышать, поскольку догадывался, что происходит в их жизни на самом деле: они приближаются к смерти. Я не звонил им и страдал от этого, а когда звонил, страдал не меньше, а быть может, даже больше.

Родители хотели поговорить со мной на множество разных тем, о приятных или досадных пустяках, о моих неугомонных младших братьях, о напряженной политической ситуации в стране. Но мне было неинтересно все это слушать. А о единственном, что было для меня по-настоящему важно, родители молчали. Они притворялись – и я притворялся. Мы пытались одурачить друг друга. Я быстро свернул разговор; за этой маленькой бестактностью скрывалась большая трусость.

4 августа

Мой сосед, отказавшийся вступать в наше писательское сообщество (он считает, что у нас слишком буржуазный менталитет), наконец прочитал «Лабиринт бесчеловечности». Его суждение было кратким и ясным: «Трудно для перевода». По его шкале это была высшая похвала.

Он стал расспрашивать меня о книге и ее авторе. Я рассказал то, что знал. Эта история его заинтриговала, и он сказал, что мне следовало бы покопаться в старых газетах и журналах. Если я доберусь до некоторых изданий 1938 года, возможно, я что-то узнаю. Я ответил, что по приезде в Париж восемь лет назад я уже пытался добраться до газетных архивов, чтобы отыскать там след «Лабиринта бесчеловечности». Особенно мне хотелось ознакомиться с расследованием Брижит Боллем, которое «Обзор» упоминал в статье об Элимане. Но все мои попытки оканчивались неудачей. Правда, касательно Брижит Боллем мне удалось выяснить, что она, много лет проработав литературным критиком в «Ревю де Дё монд» и опубликовав несколько монографий, вошла в состав жюри премии «Фемина», а с 1973 года и до своей смерти в 1985-м возглавляла это жюри.

– Да, – выслушав меня, сказал Станислас, – но теперь, когда ты выпустил книгу, о которой написали во влиятельной газете, может, тебе будет легче проникнуть в архивы?

– Не думаю. За пределами африканского гетто меня как писателя никто не знает. В газетных архивах никому нет дела до молодого, подающего надежды африканского автора, который удостоился отзыва в одном знаменитом издании. Во внешнем мире я не котируюсь.

– Так ты этого хочешь? Котироваться как писатель во внешнем мире?

Да, хочу. Ни один африканский писатель, живущий здесь, ни за что не сознается в этом. Каждый будет упорно отрицать, что у него есть такое желание, и вставать в позу бунтаря. Но на самом деле это мечта многих из нас (а кое у кого даже мечта жизни): быть принятым во французскую литературную среду (которую мы так любим высмеивать и поливать грязью). Это наш стыд, но и манящий призрак славы, наше рабство, но и мучительная иллюзия возвышения. Да, Стан, это наша жалкая реальность, жалкая суть нашей жалкой мечты, свидетельство второсортности – единственное, которому стоит верить.

Но, поскольку все это было слишком проникнуто отчаянием, слишком цинично, слишком горько, слишком несправедливо (или, наоборот, слишком справедливо), я решил не говорить этого своему соседу-переводчику; мой ответ был более кратким, но не менее точным:

– Я просто хочу написать хорошую книгу, Стан, книгу, которая избавила бы меня от необходимости писать другие, которая освободила бы меня от литературы. Такую книгу, как «Лабиринт бесчеловечности», понимаешь?

– Да, понимаю. Но вам, африканским писателям и интеллектуалам, следует опасаться некоторых видов признания. Конечно, когда-нибудь буржуазная Франция для очистки совести возведет одного из вас в высокий ранг французского писателя, ведь мы видим иногда, что какой-нибудь африканец пробился к славе или стал примером для подражания. И все же, поверь мне: по сути для нее вы останетесь иностранцами, какими бы значительными ни были ваши произведения. Вы – посторонние. Но, как мне показалось, я понял еще кое-что, и останови меня, если я ошибаюсь (тут я подумал, что, когда человек говорит «останови меня, если я ошибаюсь», это значит, что остановить его, скорее всего, невозможно), мне кажется, я понял, что вы уже перестали быть приезжими из ваших родных стран. Но тогда... откуда вы?

Он умолк, но не для того, чтобы дать мне ответить. Он размышлял над сказанным или над тем, что собирался добавить. Через секунду он продолжал:

– Знаю, некоторые из вас говорят: мы – граждане мира... Мы универсальны... Ах, эта универсальность! Она – всего лишь иллюзия! Те, кто потрясает ею, словно медалью, используют ее как ловушку. Нацепляют на шею кому захотят. Если вам ее нацепят, то чтобы вас повесить. А если не нацепят, вы можете ее требовать, клянчить – это ничего не изменит. Универсальность бывает только в аду. Сожгите медалки. И руки, которые их держат. Выбросьте ошметки колониальной эры и не ждите для себя ничего! В печку эту ветошь! Пусть догорает дотла! Пишите нефтью вместо чернил!

– Возможно, все это верно, Стан. Но африканские писатели в курсе. Они – просто люди, не политические лидеры, не идеологи. Каждый писатель должен иметь право свободно писать, что он хочет, где бы он ни находился, каковы бы ни были его корни или цвет кожи. Единственное, что требуется от писателя, хоть африканского, хоть эскимосского, это талант. Все остальное – придирки. Чушь собачья.

Стан несколько секунд смотрел на меня с улыбкой сострадания. Я знал, что он собирается сказать, и мгновение спустя он в точности это и сказал:

– Какой же ты наивный.

5 августа

Знаешь, Дневник, сегодня вечером кое-что произошло. Беатрис Нанга пригласила нас, Мусимбву и меня, к себе на ужин. Мы пришли. Она была такая, как обычно: что называется, сильная женщина.

– Я хотела пообщаться только с вами двумя, – сказала она, откупоривая бутылку. – Санца и Ева Туре – приятные люди, но мне кажется, что вы двое – это другое дело. Мы понимаем друг друга, верно?

Я рассеянно ответил «да»: как всякий раз, когда я бывал у Беатрис Нанга, мое внимание целиком сосредоточилось на громадном распятии, которое господствовало в гостиной. Я взглянул на Христа, и, как обычно, когда я вижу его изображенным на кресте, сполна изведавшим людское зло, у меня мелькнула мысль: «Он спрашивает себя, что он тут забыл». Я много раз представлял, как задаю ему вопрос: «Два тысячелетия минуло с тех пор, как ты, Господь, принял муку и смерть на этом кресте, это делает тебе честь, но ты видел результат, так скажи: ты бы сделал это еще раз?»

Ответа не было. Мы сели за стол. Беатрис подала свое фирменное ндоле и почти сразу заговорила о том, как нам следует поступить с «Лабиринтом бесчеловечности». Она считала, что мы не вправе держать эту книгу в своем кружке амбициозных молодых писателей, ее необ-

ходимо переиздать и открыть для широкой публики. Мусимбва был против. Они начали спорить. Я не встал ни на чью сторону.

За десертом обстановка разрядилась, и Беатрис включила музыку. Привычные ритуалы, беседы о высоком: вначале мы отдались гальваническим встряскам молодой ночи, зеленой, как плод манго; затем все смягчилось; луна созрела и готова была упасть с неба; мы повисли в вялых объятиях тягучих часов, предварявших изумительные сны, которые можно увидеть, только бодрствуя. В квартире все реже звучали слова. А вскоре – кроме полуночного звона бокалов или негромкого смеха, доносившихся с улицы, и нескольких секунд безупречной прозы, разделявших две песни, – осталась только самая древняя в мире речь: короткие и долгие вздохи, взгляды и легкие прикосновения, робкие ласки, призывы, ответный огонь, тайные знаки; остались только проблески сознания, какие бывают в пьяном чаду. Кажется, я услышал треск бокала, который упал и разбился, когда кто-то (я сам?) задел его во время танца. А потом время остановилось; и по-настоящему настала ночь.

И тогда случилось то, что должно было случиться: хозяйка дома предложила (прямо или намеками, я уже не помню) заняться любовью. Но только не здесь, сказала она. Ведь здесь Христос. Идемте. И, развернувшись, направилась в спальню. Мусимбва пошел за ней, словно пес-лунатик. Я не двигался с места. Он остановился и обернулся ко мне, угадав мое настроение:

– Не праздный труса, приятель. Сейчас не время. Пошли. Наконец-то мы увидим рожу этого кубистского ангела. Мы подправим ему наружность. Узнаем, как его зовут: Михаил, Джабраил или Люцифер. Устроимся втроем! Пошли.

Я покачал головой и сел, давая понять: это категорический отказ. На долю секунды Мусимбва замер в нерешительности, потом произнес тоном, который можно истолковать и как совет, и как угрозу:

– Файе, женщины порой прощают того, кто подстроил удобный случай, но того, кто его упустил, – никогда.

– Кто это сказал? Рокко Сиффреди?

– Нет.

– Роберт Мугабе?

– Нет.

– Знаю: Доминик Стросс-Кан!

– Хорошая попытка. Но ты не угадал. Талейран.

А затем он отправился навстречу своей судьбе в спальню Беатрис, а я остался сидеть в гостиной, развалившись в кресле, пьяный и немного грустный, и думал: ведь я почти ничего не знаю о Талейране, кроме того, что он был хромым, как дьявол, и его считали очень остроумным; через несколько минут мне захотелось присоединиться к ним, но тут взбунтовалась моя гордость: если бы я передумал в такой ситуации, это было бы смешно, даже стыдно, ведь речь шла о моей чести и о моем слове. Поэтому я не двинулся с места; секунду спустя, с одинаковыми интервалами, но не синхронно, послышались вздохи Беатрис и рычание Мусимбвы, и я понял, что начался предварительный этап; затем я слышал только стоны Беатрис, а Мусимбве, сдавленному ее могучими ляжками, лишь изредка удавалось высунуть голову из этих тисков, чтобы наполнить легкие воздухом, прежде чем устремиться в неизведанное, к запасам влаги в недрах Беатрис, и все это четко отдавалось у меня в ушах, виделось мне воочию: их разгоряченные тела, их все более короткие и шумные вдохи-выдохи, капельки пота и кристаллики соли на их коже; да, я все видел, сам того не желая, и тогда я сказал себе: надо бороться, надо взять себя в руки и на чем-то сосредоточиться, чтобы не реагировать на звуки в спальне; эта стойкость словно провоцировала моих друзей, ибо, как только я принимался искать достойную тему для размышлений, Беатрис начинала стонать, Мусимбва пыхтеть, кровать скрипеть, а их тела сшибались со звуком, какой издают шлепанцы, когда их выбивают один о другой; черт подери, опять начинается, подумал я и напряг все силы, чтобы найти проблему, способную

меня отвлечь, но ничего не получалось, все завесы, которыми я старался защитить мой разум, рвались, как папиросная бумага, от шума, производимого Беатрис (теперь она ухала, как сова) и Мусимбой (он орал на языке лингала поэтичные непристойности: «*Nkolo, pambola bord oyo. Yango ne mutu eko sunga mokili*»; я понимал только несколько слов, которым он меня научил); так или иначе, думал я, он произносит их, прекрасно выдерживая ритм, избегая монотонности, варьируя основную тему, но не теряя доходчивости; тебе надо вырваться из этого, Диеган, почитай что-нибудь, уткнись в книгу, и я чуть не раскрыл «Лабиринт бесчеловечности», чтобы затеряться в нем, точнее, спрятаться, но передумал, потому что при таком шуме читать невозможно; а шум не становился тише, наоборот, он усиливался, набор звуков плотской любви, кантилена молодых, здоровых тел, грохот в машинном зале радикального траха; да, я слышал этот шум, конечно же, я все слышал, Беатрис ревела, как носорог, Мусимба визжал, как свинья, – слышал и жалел, что я такой, всегда слишком робкий, слишком сложный, слишком зажатый, слишком отрешенный, слишком интеллектуальный, слишком сухой, слишком замкнувшийся в гордом и глупом одиночестве, поэтому я закрыл глаза, решившись страдать дальше, смириться и ждать, пока это пройдет, пока это кончится, ибо все в конце концов кончается, *panta rhei*, все течет, как сказал мудрый Гераклит; ну и ладно, сказал я себе, закроем глаза и будем ждать, когда оно все истечет, но стоило мне спрятаться под веками, словно ребенку в «домике» из ладошек, как у меня возникла мысль или, точнее, властное желание – я должен их убить, должен взять нож, войти в спальню и вонзить клинок в это тело, ведь тело теперь там было только одно: два тела были слиты воедино громадным желанием, от которого я был отлучен; и в этом теле я должен проделать дыры, методично, не спеша и аккуратно, как профессиональный убийца: сначала в сердце, затем в живот, потом в аорту, и еще раз в сердце – чтобы удостовериться, что эта упрямая штукавина, причинившая людям столько страданий, наконец перестала биться, – потом в пах и в бок; понятно, я не касался лица, потому что лицо – это священная территория, это храм, который нельзя осквернять насилием. Лицо – это знак Другого, страдальческий призыв, который через меня направлен всему человечеству (в свое время я читал Левинаса), но тело я истыкал бы ножом повсюду, пока оно не перестанет испытывать наслаждение или пока оргазм не завершится смертью; вот какое желание я ощутил, когда не мог заглушить терзавшие меня звуки (в тот момент оба рычали); и надо же – божественное Провидение словно бы способствовало моим зловещим планам: на кухонном столе валялся большой нож, мне было достаточно схватить его, чтобы снова взять ситуацию под контроль, и я уже улыбался, представляя себе эту сцену, разрабатывал сложные сценарии, страшнее которых еще не бывало в хронике происшествий; и вдруг, в тот самый момент, когда я собирался встать и пойти за оружием, я ощутил чье-то присутствие рядом со мной; открыв глаза, я увидел, как Христос шевелится на огромном распятии, висевшем на стене; хоть я и не христианин, более того, я убежденный анимист, поклоняющийся панголам (так называются у нашего народа духи предков) и верховному богу Роог Сену, – увидев это, я инстинктивно перекрестился и стал ждать; как ни странно, я совсем не был испуган, только слегка удивлен; я верю в явления призраков и в то, что сверхъестественное может принимать зримый облик, поэтому я просто ждал, когда Христос извлечет гвозди и сойдет с креста, что он вскоре и сделал, – надо сказать, с большой ловкостью и изяществом, учитывая обстоятельства, – сел на диванчик напротив моего кресла, снял окровавленный терновый венец, сползший ему на лоб, поднял на меня кроткий взгляд голубых глаз, и я поспешил укрыться в этой тихой гавани; тем временем изголовье кровати яростно ударялось о стену, но я уже не придавал этому значения, ибо важен был только тот, кто сидел напротив; и вот он заговорил со мной, не открывая рта, заговорил *vox cordis*⁷, и это утешило меня во всех моих душевных горестях, развеяло мои кроваво-жадные мечты, мое уныние, мою жалкую ревность, мое одиночество; это были простые, но

⁷ Голосом сердца (лат.).

проникновенные слова, секрет которых ведом только ему одному, и я слушал их, несмотря на крики, раздававшиеся в такт звонким шлепкам, я слушал Христа и усваивал его наставления, его притчи (какой писатель не мечтал бы сочинить такие?); он говорил долго, потом умолк, и тогда мы оба узнали последние новости из спальни, очевидно, близилась кульминация, по этим истощенным воплям уже нельзя было понять, кто что делал; я взглянул на Иисуса, и на долю секунды мне почудилось, что и в его взгляде тоже промелькнуло желание оказаться в спальне, но скорее всего, в это время я заснул и увидел сон либо в меня вселился дьявол, тем более что в следующую долю секунды Сын Человеческий сообщил: он должен уйти, ибо в его внимании нуждаются другие заблудшие души; затем он встал, и его божественное сияние ослепило меня, я спросил, нужна ли ему помощь, чтобы забраться обратно на крест, где он пребывает уже два тысячелетия, и предложил подставить спину, но он рассмеялся (до чего же благотворный и добрый смех у Христа) и сказал: «Думаю, я сам справлюсь»; и правда, он сумел снова закрепиться на кресте без посторонней помощи, не спрашивайте меня, как он это сделал, я не знаю, он ведь вообще способен на удивительные вещи, так или иначе, он снова распялся у меня на глазах, и, в то самое мгновение, когда Беатрис и Мусимбва в адском грохоте достигли вершины, Христос, перед тем как его лицо опять приняло свое двухтысячелетнее, скорбное и страстное выражение, взглянул на меня и произнес (на сей раз его рот открылся): *«Да, я сделал бы это еще раз».*

Сказав эти дивные слова, не дав мне времени задать еще вопросы (я очень хотел бы уяснить для себя, например, некоторые подробности искусства пресуществления или чтобы он описал мне вид, открывающийся с вершины Голгофы), он покинул меня, и в квартире воцарилась ужасающая, гнетущая пустота мира, только что оставленного Богом. Как много времени прошло с момента его пришествия? Не могу сказать, как не могу сказать, как много времени я провел в молчании и неподвижности, сидя в кресле после его ухода. Из спальни больше не доносилось ни звука. Очевидно, тело заснуло. Или умерло. Увидим, сказал я себе. Затем встал, взял «Лабиринт бесчеловечности» и пошел домой.

6 августа

Проснулся я словно в тумане. После полудня позвонил Мусимбва. Мы заговорили о вчерашнем вечере, и, как я и ожидал, он спросил меня, почему я не присоединился к ним в спальне. Я ответил, что от ндоле у меня разболелся живот, он сказал, что это вранье, что мне надо научиться поменьше думать и побольше трахаться, а я сказал, что подумаю над этим. Потом мы оба замолчали. Я чуть не спросил, что такое «кубистский ангел», но удержался: я был уверен, что Мусимбва не захочет делиться со мной подробностями. Я решил сменить тему и спросил, нет ли у него знакомого, занимающего высокую должность в архивах прессы. Он обещал через несколько дней связать меня с одной из них, а затем добавил:

– Не знаю, есть ли еще у меня желание знать, кто такой был этот Элиман. К любимым художникам не надо подходить слишком близко. Восхищаться ими надо издалека, молча: вот хороший тон. Тебе так не кажется? Мне достаточно «Лабиринта бесчеловечности», хоть он и не закончен... Но я понимаю, тебе хочется его найти. Кажется, я только что это понял.

– Что ты понял?

Мусимбва сказал: «Я понял, что на самом деле ты хочешь найти не столько продолжение этой книги, сколько разгадку литературы, ее сущности. Но искать разгадку литературы – значит гоняться за иллюзией. Искать разгадку литературы – это искать дерьмо. Поверь мне, Файе: пытаться разгадать сущность литературы – это... это...» Но что-то, возможно спешка, а возможно, печаль, не дало ему закончить фразу, и он буркнул только: «Вот такие дела».

Я не стал настаивать, и мы, перед тем как завершить разговор, сменили тему. Потом, после долгих колебаний, я решил, что не буду писать Беатрис. Я не сумел бы объяснить ей,

что некая таинственная алхимия в определенный момент превращает плотскую любовь в трагический обет. Два тела говорят друг с другом, понимают друг друга, узнают друг друга, а затем, сами того не желая, даже не отдавая себе в этом отчета, без слов клянутся друг другу в верности. Но поскольку на свете нет ничего более несправедливого, чем любовь, случается, что только одно из тел приносит этот нерушимый обет. Разумеется, рано или поздно происходит разрыв; и тогда тело, давшее обет, остается в одиночестве под гнетом клятвы, привязывающей его к воспоминанию. Оно наследует обет, обременительный, как труп, и ни один друг не поможет ему под покровом ночи избавиться от этого наследства. Оно бродит от тела к телу со своим бременем, но не находит покоя и вскоре теряет надежду его найти. Его партнеры ничего не значат в сравнении с утраченным идеалом. Тела, которые ему встречаются, его неизбежно разочаровывают, еще и потому, что оно само готово к разочарованию. Настает момент, когда мысль о неизбежности разочарования заставляет его отказаться от любого нового опыта; но еще больше, чем эта мысль, его терзает чувство вины из-за нарушенной клятвы верности, данной когда-то телу, которое, возможно, уже забыло о нем, удерживает его, парализует, в то время как океан желания расстилается перед ним, зовет его. Оно остается в одиночестве, но все еще боится нарушить верность. Рассказывая о любви к нему матери, любви, какой он не смог больше найти ни в одном человеке, Ромен Гари назвал ее «обещанием на рассвете». Если говорить о любви плотской, я утверждаю: тот, кто ей предается, порой дает «обещание в полночь». Год с лишним назад я дал его другой женщине.

Нет, я не сумел бы объяснить это Беатрис Нанга. Она грубо расхохоталась бы мне в лицо.

Та женщина больше не со мной. Она отметила меня своей печатью, которую я не в силах снять. После ее ухода любое женское тело вызывает у меня страх. Даже самые заветные мечты отступают перед этим неуступчивым призраком. Я страстно желал заняться любовью с Беатрис, мое тело требовало ее. Но как только подвернулась такая возможность, мое тело вспомнило о давнем обете и желание угасло.

Я встретил ее в типично парижском уголке: на бульваре Распай, на скамейке у памятника капитану Дрейфусу со сломанной саблей в руке. У ее ног крутилась стайка голубей. Она бросала им крошки сэндвича, и я не нашел лучшего повода, чтобы завязать разговор, чем сказать: «Мэрия запретила кормить этих птиц, мадемуазель». Она подняла на меня глаза: ее взгляд был полон величавого презрения. Ну и пусть: главное, теперь я мог полностью разглядеть ее лицо. Я покорно выслушал ее отповедь и сразу же начал выкладывать банальности, которые помогли сломать лед. В то время я читал последний роман Кундеры. Один из героев объяснял: чтобы соблазнять женщин (которые часто бывают умнее), мужчинам выгоднее производить впечатление посредственности, чем без конца изощряться в остроумии, в итоге становясь смешными. Я усвоил этот урок и не пытался поразить ее. Но и не давал ей скучать. Путь, пролегающий между этими двумя крайностями, извилист, темен и опасен, однако он существует. Я ступил на этот путь, и понадобилась вся моя ловкость, чтобы не сойти с него.

Через несколько минут она ушла. Я не знал ни ее имени, ни телефона, но готов был поспорить, что мы еще встретимся. Я не в первый раз видел ее здесь, в сквере рядом с моим университетом, куда часто приходил с книгой. И надеялся, что не в последний. Три дня спустя мы встретились на том же месте: теперь я сидел на скамейке, а она меня окликнула. Наш второй разговор был более длительным и более миролюбивым, а прощаясь с ней, я уже знал ее имя: Аида. Телефонами мы обменялись гораздо позже, когда стало недостаточно случайных встреч в сквере, которые уже напоминали свидание или надежду на свидание.

Далее последовали обычные, почти банальные этапы, пролог возможной связи: первый ужин вдвоем позволил нам выяснить основные факты биографии друг друга. Я узнал, что она – фотожурналист, специализируется на протестном движении в городах; ей стало известно, что я давно пишу и никак не могу закончить диссертацию по литературе. Она была метиска (отец колумбиец, мать алжирка), младшая из троих детей. Я был старший из пяти братьев. Она

была веганом; я обожал антрекоты с кровью. Она голосовала за коммунистов; я жил в одной квартире с анархистом. Она хотела стать знаменитым репортером; я – всего лишь писателем. Мы продолжали лихорадочный обмен эсэмэсками в любое время дня. Затем состоялся второй ужин (веганский), первое целомудренное смущение, первые неожиданные паузы в разговоре, первые взрывы смеха и, возможно, первый обмен серьезными взглядами. В этот момент может случиться первый поцелуй. У нас он не случился. Каждый из нас дразнил ожиданием себя и другого. Настало время первых признаний. Кто первым сказал: «Мне тебя не хватает»? Это был я. Она нашлась с ответом: я тоже, но музыка медленная, давай и мы не будем торопиться. Первый совместный поход на концерт. Первое рукопожатие перед огромной сценой на празднике «Юманите», под песню Ману Чао. «*La vida es una tombola*»⁸, пел он, а я, дурачок, слушал и думал: да, верно, жизнь – лотерея, и в ней иногда можно выиграть чудо: запах кожи, тело, которое движется рядом, слегка задевая тебя, женский голос, который тихонько напевает; и правда, ничем иным нельзя объяснить ее присутствие рядом с тобой в этот момент, ни удачей, ни какими-то заслугами, ни терпеливым ожиданием, ни даже исполнением дерзновенной мечты. И тут случился наш первый поцелуй, медленный, идеальный – поскольку ничто его не спровоцировало, просто он созрел. Он длился целый куплет, а во время припева наши губы вновь соединились, как бы невзначай, как будто все как прежде – хотя ничего уже не было как прежде. С окончанием песни «*Me gustas tu*»⁹, последнего номера программы, мгновенно наступила тьма и обрушился ливень. Нам не нужно было разговаривать, обмениваться впечатлениями от потрясающего концерта, вновь переживать ощущение поцелуя, от которого у нас еще болели губы, перед входом в метро, задаваться вопросом, куда мы едем. Мы знали, что едем к одному из нас; мы не произносили ни слова, разговор вели наши сплетенные пальцы и полуулыбки, в них было столько смысла, что любая произнесенная фраза обвалилась бы под его тяжестью. Мы поехали к ней. Помню ее промокшие волосы, оставлявшие влажные следы на ее и моем лице, когда мы разняли любовь на сверкающие фрагменты, и они сжали нас, как кольца сжимают планету.

В жизни человека настоящие бытийные метаморфозы происходят не часто. У меня их было две, и чтение «Лабиринта бесчеловечности» было только второй из них. Для Паскаля мистическим озарением стала «ночь огня», для Валери – «ночь в Генуе»; для меня им стала первая ночь любви с Аидой. Никто и никогда не притушит проблеск истины, который зажегся тогда во мне; даже пелена времени не сможет его закрыть. В тот вечер я, пронизанный светом, пал ниц и принес обет. Я поклялся в верности своей души другой душе. Но эту клятву дал только я.

10 августа

Знакомый Мусимбвы оформил мне пропуск в архив прессы, и сегодня я провел там весь день. Телефон у меня отобрали на входе, но я сделал кое-какие записи. В архиве нашелся экземпляр газеты с расследованием Б. Боллем. Ознакомившись с мнением тогдашних критиков и расследованием этой журналистки, я заново перечитал «Лабиринт бесчеловечности».

* * *

Издательство «Жемини» недавно выпустило в свет весьма необычный дебютный роман, автором которого будто бы является чернокожий, некий африканец из Сенегала. Книга называется «Лабиринт бесчеловечности», имя автора – Т. Ш. Элиман.

⁸ Жизнь – это лотерея (исп.).

⁹ Ты мне нравишься (исп.).

Если честно, у читателя возникает вопрос: не написан ли этот роман французским писателем, выступающим под псевдонимом? Хочется думать, что в африканских колониях образование достигло огромных успехов. И тем не менее: можно ли поверить, чтобы африканец так писал по-французски?

В этом-то и секрет.

Но о чем, собственно, идет речь в данной книге, которая явно нуждается в продолжении?

Нам рассказывают историю кровожадного властителя, эдакого негритянского Нерона, который <...>

Остается выяснить, кто скрывается за странным именем Т. Ш. Элиман. Если (что маловероятно) это какой-то негр из наших колоний, впору поверить, что всесильная африканская магия действительно существует.

Б. Боллем

«Ревю де Дё монд»

11 августа

Возможно, ответом Элимана в этой истории стало молчание. Но что это за писатель, который молчит?

* * *

Во вчерашнем номере «Ревю де Дё монд» сообщается о выходе у одного начинающего издателя «весьма необычного дебютного романа, автором которого будто бы является чернокожий, некий африканец из Сенегала».

А мы смело вычеркиваем это скептическое «будто бы»: эта изумительная книга, «Лабиринт бесчеловечности», – шедевр чернокожего автора, африканца до мозга костей [...].

Потому что месье Элиман – действительно поэт и действительно негр. [...]. Под описанными в романе ужасами скрывается глубокий гуманизм. [...].

Автор, которому, по словам издателя, месье Элленстейна, едва исполнилось двадцать три года, оставит след в нашей литературе. Скажу больше: за ранний возраст и величие поэтических видений его можно назвать «негритянским Рембо».

Огюст-Раймон Ламбель

«Юманите»

Год тому назад я упивался счастьем каждого дня, наполненностью каждой недели, безудержным ликованием каждого нового начала: я понимал, что влюблен, и молился, чтобы это никогда не кончалось. Аида, как ей казалось, своевременно предупредила меня о грозящей опасности. Но это «своевременно», конечно же, запоздало: я уже достаточно долго любил ее к моменту, когда она призналась, что не может позволить себе такую роскошь, как привязанность. «Рано или поздно работа потребует моего присутствия в другом месте, возможно надолго, и я уеду», – сказала она.

Это было честно, следовательно, жестоко. Я любил ее с бешенством ребенка, который не в состоянии найти язык для выражения своих чувств, испытывал ярость, сам не зная, кто из нас двоих ее вызвал. Поскольку каждый день или каждая ночь с Аидой могли оказаться последними, я проживал их с необычайным волнением, с болью, а порой (хоть я и старался побороть это чувство) даже с надеждой: вдруг она останется со мной, а не отправится куда-то на край света фотографировать вспыхнувшую там революцию? Величайшее из потрясений происходит на твоих глазах: смотри, я влюбился в тебя. Она отворачивалась. Но на меня это не действовало. Я не сдавался.

Однажды, в порыве отчаяния или, наоборот, в безумной надежде, я произнес роковые три слова. В ответ – ничего, ни осмотрительного «я тебя тоже», ни даже вызывающего «а я тебя нет». Аида вообще не ответила, и я знал: ставить ей это в вину несправедливо, ведь я еще раньше понял, что рассчитывать на взаимность не могу. Если уж совсем честно, в глубине души мне это даже нравилось. Наверное, в любви я, подобно многим другим, был мазохистом. Я словно играл в теннис с невидимым партнером, перебрасывал признания в любви, как мячики, поверх сетки. Они падали в темноту на другой половине корта, и я не знал, прилетят они обратно или нет: эта пытка неизвестностью доставляла мне извращенное удовольствие. Кто в неведении, в том еще живет надежда; из молчания Аиды могли воссиять несколько слов, как свет жизни из перевозданного хаоса. У меня было много мячей. Я подавал снова и снова. Я был готов к тому, что матч окажется сверхдолгим.

Но вышло иначе. Однажды ночью Аида сказала, что уезжает на родину, в Алжир, где назревает историческая народная революция. То есть нам осталось шесть месяцев жизни. Я был как человек, у которого диагностировали рак в терминальной стадии. Той ночью я тайне от всех начал писать «Анатомию пустоты». Роман о любви, прощальное признание, свидетельство разрыва, прелюдия к одиночеству: все сразу. Я писал его три месяца, и в это время мы продолжали встречаться. Почему? Сознание, что она живет со мной в одном городе, а я с ней не вижусь, было мучительнее, чем сознание предстоящей разлуки. Я любил любить ее, *amare amabam*¹⁰, любил свою любовь, любил наблюдать за собой, охваченным любовью. Жизнь как картина, изображенная на другой картине, сведенная к одному-единственному измерению. Это было не обеднение, а сосредоточение всего моего существа на одной-единственной цели. Если бы в тот момент меня спросили, чем я занимаюсь в жизни, мой ответ был бы скромно-горделивым и трагическим: я просто люблю. Я уже жил так, словно был запечатан; а когда на ваше тело поставлена печать, это означает слепую покорность.

Я написал «Анатомию пустоты», никому об этом не сказав, очень быстро, и послал ее в одно дружественное издательство. Три недели спустя я, к своему величайшему удивлению, получил от них письмо (обычно они отвечали самое раннее через три месяца), в котором они сообщали, что хотели бы выпустить книгу как можно скорее. «Анатомия пустоты» вышла в свет за три дня до отъезда Аиды. Я посвятил книгу ей. Но ее это не удержало. Она отправилась в Алжир освещать революцию. Перед отъездом я спросил у нее, сможем ли мы остаться на связи. И получил ответ в духе Бартлби¹¹: она бы предпочла отказаться. И объяснила почему: оставаться на связи значило бы надеяться, пусть и безотчетно, что наши отношения однажды могут возобновиться. А ей не хотелось, чтобы мы запрещали себе любить снова, любить чьи-то другие лица. Мне было нужно только ее лицо, но я согласился с ее решением – то ли от любви, то ли из малодушия. Она удалила свои аккаунты в социальных сетях, закрыла почтовый ящик и предупредила, что, прибыв на место, сменит номер телефона, так что писать ей бесполезно. Я каждый раз говорил «да». В наших отношениях тон всегда задавала она. Так я в один прекрасный день оказался один, и задать тон было некому. К одиночеству нельзя подготовиться, но можно постепенно привыкнуть, спускаясь со ступеньки на ступеньку; я же был сразу низвергнут на самое дно. Но я дал клятву.

13 августа

В каком-то смысле Элиман стал первым человеком, который, будучи изгнан из рая, не смог найти прибежища нигде, кроме как там же, только на обратной стороне. На изнанке рая. А что такое изнанка рая? Позвольте гипотезу: изнанка рая – это не ад, это литература. Реше-

¹⁰ Я любил любить (лат.).

¹¹ Персонаж рассказа Г. Мелвилла «Бартлби, переписчик».

ние: когда Элимана убили как писателя, ему оставалось лишь умереть (или воскреснуть?) с помощью литературного текста.

* * *

Только остряк-социалист вроде Огюста-Раймона Ламбеля мог увидеть в «Лабиринте бесчеловечности» творение «нового Рембо», пусть даже негритянского. Эта книга – брызги слюны самонадеянного дикаря, вообразившего себя мастером фейерверков в языке, с таинственным пламенем которого он еще не умеет обращаться, и в итоге обжегшего себе крылышки.

[...] Дикая жестокость африканцев – не плод воображения: мы могли в этом убедиться на фронтах Великой войны, где отважные, но свирепые полчища негров внушали ужас не только врагам, но и самим французам. «Лабиринт бесчеловечности» – еще одна констатация этого факта. Африка и раньше отталкивала нас. А сейчас она нам просто отвратительна. Колонизация должна продолжаться, недопустимо откладывать христианизацию этих несчастных отверженных душ. Иначе мы получим новые книги того же свойства.

[...] Вся эта писанина наглядно показывает, что цивилизация лишь поверхностно затронула этих негритосов, способных только грабить, бесчинствовать, разорять, жечь, пьянствовать, развратничать, поклоняться идолам, убивать [...].

Эдуар Вижье-д'Азенак

«Фигаро»

14 августа

Санца пригласил всю нашу компанию к себе на ужин сегодня вечером. Я пошел туда без особой охоты, размышляя о пустоте того, что я пишу, о лживости того, что я пишу, о том, как далеко от жизни то, что я пишу. Права была Сига Д.: с насеста, на котором я сидел и изрекал суждения о литературе, я устремился ввысь, чтобы, как сокол, парить над миром; но это были лишь демонстрационные полеты, а не боевые вылеты, потешные бои вместо смертельных схваток. Я прятался за литературой, как за витриной или за щитом; а жизнь с ее жестокостью, ее напором, ее ударами ниже пояса оставалась по другую сторону. Надо было раскрыться, вступить в борьбу, быть готовым получать затрещины и, быть может, давать сдачи. Надо было найти в себе немного мужества не торговаться, не мухлевать, не искать лазейки; немного мужества, вот и все. Это цена, которую надо было заплатить.

Дискуссия за ужином у Фостена Санцы показалась мне вялой, и я в ней почти не участвовал. Беатрис Нанга едва поздоровалась со мной и за весь вечер больше не сказала мне ни слова. Казалось, каждый из присутствующих думал о чем-то своем. Санца попытался подбросить дров в угасающий спор, но все его усилия разбивались о стену равнодушия и скуки. Ева Туре не сделала ни одного фото для соцсетей. В этот вечер все было не так. И мы рано разошлись. Беатрис Нанга, садясь в такси, метнула в меня испепеляющий взгляд. Ева вызвала своего личного таксиста. А мы с Мусимбой пошли пешком. По дороге я поделился с ним своими открытиями, сделанными в архиве прессы. Он спросил, собираюсь ли я в Амстердам. Я ответил, что это не исключено.

– Все это заслуживает книги, – сказал он. – И ты это знаешь. Я бы с удовольствием принял участие в этой затее, но не смогу. В последние дни я много думал. Сейчас у меня в голове план другой книги. Я возвращаюсь в Конго. Не знаю, готов ли я к этому, но я должен ехать.

Знаю, в эту тяжелую минуту надо было сказать ему что-то серьезное, или утешительное, или прекрасное, или просто отпустить шутку, но мне ничего не пришло в голову: рот остался закрытым, и молчание усугубило тяжесть минуты. Каждый из нас ушел к своей книге.

Мусимбва редко говорил о родной стране. Я знал только то, что он бежал от войны еще ребенком вместе с теткой, которая умерла в прошлом году. Он ничего не рассказывал об обстоятельствах своего бегства, о родителях, о своей жизни до эмиграции. Однажды я спросил, почему он лишь бегло упоминает о своем прошлом. Никогда не забуду его ответ:

– Потому что от Заира у меня остались только печальные воспоминания. Я провел там самые счастливые минуты своей жизни. Но всякий раз, когда я вспоминаю о них, я чувствую себя несчастным. Это воспоминание подтверждает, что они не просто остались в прошлом – они уничтожены, а вместе с ними уничтожен целый мир. От Заира у меня остались только печальные воспоминания. Среди них, конечно, есть плохие. Но есть и хорошие. Я хочу сказать: ничто так не печалит человека, как воспоминания, даже счастливые.

Больше я не решался говорить с ним об этом периоде его жизни. Хотя чувствовал, что именно там скрыты ключи ко всем загадкам его творчества. Например, во всех его книгах или есть глухой персонаж, или встречаются выразительные метафоры глухоты. Он никогда не объяснял причину, но интуиция говорила мне: хочешь понять Мусимбву – ищи подсказку здесь.

Мы все еще шагали по улице. Он прервал молчание:

– Что побудило тебя стать писателем, Файе? Можешь ли ты назвать событие, о котором ты вспоминаешь и думаешь: с этого начался мой путь в литературу?

– Трудно сказать. Возможно, все началось с книг, которые я прочел. Хотя не знаю. У меня нет впечатляющей истории о том, как я осознал свое призвание. Такой, например, как у Харуки Мураками. Ты ее знаешь? Нет? Представь себе матч по бейсболу. Движение мяча, рассекающего воздух, исполнено чистоты и гармонии. Мураками следит за безупречной траекторией полета и вдруг осознаёт, что он должен делать, кем должен стать: великим писателем. Этот мяч стал для него литературным озарением, знаком свыше. У меня не было мяча. Не было озарения. Вот почему я говорю, что, как мне кажется, в литературу меня привело чтение. А ты знаешь, почему стал писателем?

Он сказал, что да. Но мы уже были у перекрестка, где наши пути расходились, и он не успел (или не захотел) рассказать подробнее о том, как ощутил свое призвание. Только спросил, каким будет следующий этап моих поисков. Я ответил, что пока в точности не знаю, хотя нельзя исключать, что в скором времени загляну в Амстердам, к Сиге Д. А он собирался в ближайшую неделю уехать в Демократическую Республику Конго. Причем готовился к этой поездке по минимуму. «Еду, можно сказать, наудачу», – сказал он с улыбкой. Но от этой улыбки мне стало немного грустно.

Мы договорились еще раз встретиться до его отъезда, выпить, как никогда не пили, и почитать вслух наших любимых поэтов и прозаиков. Ведь только так, признались мы себе, два молодых писателя, ставших друзьями и готовых ринуться в неизведанное, могли достойно попрощаться. Думаю, в глубине души мы оба понимали, что эта прощальная литературная попойка не состоится. Мы тогда виделись в последний раз перед долгой разлукой. И делали вид, будто верим в предстоящую вечеринку, чтобы сгладить впечатление от сегодняшней. Мы, конечно, еще перезвонимся, но уже не увидимся. Когда состоится наша следующая встреча, мы будем уже другими. Возможно даже, мы просто станем мужчинами.

* * *

В последние несколько дней нам приходится слышать, что недавно ставший сенсацией «Лабиринт бесчеловечности» Элимана (издательство «Жемини») дает адекватное представление об африканской цивилизации. Критики, стоящие на прямо противоположных идеологических позициях и высказывающие полярные точки зрения на этот роман, сходятся в одном:

это африканская книга. На наш взгляд, все они ошибаются: книга эта какая угодно, но только не африканская.

Мы ожидали найти в ней больше тропического колорита, больше экзотики, более глубокого анализа именно африканской души [...]. Автор – человек образованный. Но где в его произведении Африка?

Главная слабость этой книги в том, что она недостаточно негритянская. Жаль, что ее несомненно даровитый автор решил продемонстрировать нам стилистические изыски и собственную эрудицию, вместо того чтобы дать нам услышать нечто куда более интересное для нас: биение пульса его земли. Будем надеяться, что мы услышим его в следующей книге Элимана, которая призвана стать развязкой «Лабиринта бесчеловечности».

Тристан Шерель

«Ревю де Пари»

15 августа

А что на самом деле можно знать о писателе?

* * *

О «Лабиринте бесчеловечности», вызвавшем многочисленные и разноречивые отклики, мы решили побеседовать с Шарлем Элленстейном и Терезой Жакоб, основателями и владельцами издательства «Жемини», в котором вышел этот широко обсуждаемый роман.

Брижит Боллем. Говорят, что Т. Ш. Элиман – лишь маска, под которой скрывается настоящий автор книги...

Шарль Элленстейн. В Париже много чего говорят. И, между прочим, зачастую говорят именно вы, журналисты. И далеко не все из сказанного – правда. Все авторы носят маски. Если вы имеете в виду слухи, будто книга написана не Элиманом, а неким известным автором, решившим выступить под другим именем, то это просто смешно.

Б. Б. Почему?

Тереза Жакоб. Потому что он существует. Элиман существует.

Б. Б. Он действительно африканец?

Т. Ж. Это африканец из Сенегала, как указано на задней странице обложки.

Б. Б. Кажется, он примерно вашего возраста...

Ш. Э. Он немного моложе меня. Но как бы то ни было, не возраст делает писателя.

Б. Б. Где он находится сейчас? Почему он не здесь, с вами?

Ш. Э. Это отшельник. К тому же он понимает: тот факт, что он африканец, вызовет массу комментариев по его адресу, притом не самых доброжелательных.

Б. Б. Книга возбудила полемику в прессе, в частности вокруг необычной и таинственной фигуры автора. Понимаете, хотелось бы получить подтверждение, что роман написал именно он, тот самый Т. Ш. Элиман... Его молчание бросает тень на его работу...

Т. Ж. Элиман это сознает и готов подвергнуться связанному с этим риску.

Б. Б. Можете ли вы, по крайней мере, рассказать о нем чуть больше? Чем он занимается? Как вы с ним познакомились? Как он выглядит? Где живет?

Ш. Э. Мы познакомились с ним в кафе, случайно, в прошлом году. Мы часто бывали в этом кафе и каждый раз за одним из столиков видели Элимана, который увлеченно что-то писал, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Было ясно, что он писатель. Это сразу чувствуется. Однажды мы с ним разговорились. Элиман человек необщительный, завоевать его доверие нелегко. Но мы с ним стали друзьями. В конце концов он дал нам прочитать свою рукопись. Нам понравилось. Так началась история этой книги.

Б. Б. Что он думает о шумихе вокруг его романа?

Т. Ж. Не такая уж это шумиха. Как бы там ни было, он, насколько мне известно, не обращает на это внимания. Такие вещи ему не интересны.

Б. Б. А что ему интересно?

Т. Ж. То, что должно интересовать любого писателя: писать. Читать и писать.

Б. Б. Он действительно африканец? Извините за настойчивость, но понимаете, для наших читателей непривычно, что африканец...

Т. Ж. Умеет так писать?

Б. Б. ...просто умеет писать. И вызывает такой переполох в маленьком литературном мире. Между прочим, вы знали, что Огюст-Раймон Ламбель в «Юманите» назвал его «негритянским Рембо»?

Т. Ж. Эта аналогия – на его совести. Больше нам нечего сказать.

Б. Б. Можем ли мы надеяться в скором времени увидеть Т. Ш. Элимана?

Ш. Э. Все зависит от него. Но я был бы удивлен.

Так закончилась наша беседа. Трудно сказать, что думать обо всем этом. Шарль Элленстейн и Тереза Жакоб стремятся во что бы то ни стало сохранить в секрете личность их таинственного друга. В итоге – парадокс: нам кое-что известно об этом человеке, но окружающая его тайна остается непроницаемой.

Брижит Боллем

«Ревю де Дё монд»

18 августа

А что на самом деле можно знать о произведении?

* * *

Когда читаешь некоторые отзывы о «Лабиринте бесчеловечности», сомнений не остается: если что и смущает критиков в этом романе, то это цвет кожи автора. Вся эта возня – из-за его расовой принадлежности. Месье Элиман появился слишком рано, наша эпоха пока не готова видеть, как чернокожие добиваются успеха во всех областях жизни, в том числе и в изящной словесности. Как знать, быть может, такое время еще наступит. На данный момент Элиман – только первопроходец, живой пример. Его задача в том, чтобы его увидели и услышали, в том, чтобы доказать расистам: чернокожий может стать выдающимся писателем. Мы горячо и последовательно поддерживаем Элимана. Мы с радостью примем его в наши ряды.

Леон Беркофф

«Меркюр де Франс»

19 августа

Я написал Матушке-Паучихе. Я был готов навестить ее в Амстердаме. Она тут же ответила: «Я жду тебя, Диеган Файе».

Я взял билет на поезд на следующий уик-энд: да здравствует стипендия!

Затем я стал искать в интернете фотографии Брижит Боллем. Они были сделаны главным образом в 1970-е годы, в десятилетие, когда Боллем, влиятельный член жюри премии «Фемина», крепкая шестидесятилетняя дама (она родилась в 1905 году), достигла пика популярности в литературных кругах и в средствах массовой информации. На фотографиях Брижит Боллем всегда смотрит прямо в объектив, словно хочет этим честным взглядом отправить послание будущему.

«Лабиринт бесчеловечности», или подлинный источник одной мистификации

Анри де Бобиналь

Профессор африканской этнологии в Коллеж де Франс

Я неоднократно бывал в Африке, в частности в колонии Сенегал, в период между 1924 и 1936 годами. Во время одной из этих поездок я открыл и исследовал одно необычное племя – племя бассеров. Я провел с бассерами достаточно времени, чтобы сказать с уверенностью: книга Т. Ш. Элимана – постыдный плагиат одного из космогонических мифов этого народа. Сюжетная канва романа (если не считать вплетенных в нее романтических эпизодов) в общих чертах воспроизводит миф о происхождении бассеров, который я услышал в 1930 году.

В этом мифе рассказывается, как в древности один Король основал государство бассеров. Этот жестокий и кровожадный властитель сжигал живьем своих врагов, а порой и собственных подданных. После казни он смешивал их останки с удобрением, чтобы выращивать деревья, плоды которых делали его более могущественным. За короткое время посадки этих деревьев превратились в громадный лес, и у Короля набралось достаточно плодов, чтобы он мог править вечно. Однажды, гуляя в одиночестве по лесу, Властитель встретил женщину (или богиню: в бассерском языке первое и второе обозначается одним и тем же словом), красота которой поразила его. Женщина (или богиня) уходила все дальше в лес, Король последовал за ней и в конце концов заблудился. Он проплутал там несколько лет, среди деревьев, выросших благодаря его страшной подкормке. И ему пришлось столкнуться лицом к лицу со своими давними злодеяниями, потому что в каждом дереве жила душа человека, сожженного им заживо, и говорила с ним. Король был близок к помешательству, но затем, в мгновение, когда он, выслушав рассказ каждого дерева, уже находился между жизнью и смертью, снова явилась женщина-богиня и вернула ему рассудок и жизнь. Затем они вышли из леса. Король думал, что бродил по лесу несколько лет, но, вернувшись, застал свой двор таким же, каким оставил, и подданные сказали, что он исчез всего четыре или пять часов назад. И тогда Король понял, что это боги подвергли его испытанию. Он женился на женщине-богине и дал своему народу новое имя – бассеры, что означает «поклоняющиеся деревьям».

Я рассказал эту чарующую легенду Марселю Гриолю и Мишелю Лейрису, когда они в 1931 году во главе знаменитой экспедиции «Миссия Дакар-Джибути» прибыли в край бассеров. Они были в восторге. Кстати, Лейрис бегло упоминает обо мне в «Призрачной Африке».

Вы наверняка заметили удивительные совпадения между мифом бассеров и романом месье Элимана. Совершенно очевидно, что он воспроизвел эту историю практически без изменений. Это называется плагиат. Предположим, им двигали лучшие побуждения (популяризировать культуру бассеров); но тогда почему он не упоминает этот народ, к которому, возможно, принадлежит сам? Почему ведет себя так, словно обязан этим материалом исключительно своему воображению или своему таланту?

Я взываю к порядочности месье Элимана. Если она у него еще сохранилась, он должен признать свою вину публично. Вероятно, пострадает его репутация, но в моральном плане он, безусловно, выиграет. А с ним и бассерский народ.

Анри де Бобиналь

21 августа

Когда мы со Станисласом обедали в пакистанском бистро, он, дожевывая пирожок с мясом, вдруг заявил:

– Забыл тебе сказать кое-что. Вчера я перечитывал «Дневник» Гомбровича. Там речь идет о пятидесятых годах. Как ты, может быть, знаешь, он тогда жил в Аргентине. И вот что он пишет: «Сабато познакомил меня с одним африканским писателем, который недавно приехал

сюда. Станный тип. Посмотрим, чего стоит его книга. Сабато мне ее подарил». Через две страницы он уже описывает свои впечатления. «Закончил книгу африканца. Приятно блуждать в его «Лабиринте» (хоть и бесчеловечном), несмотря на совершенно излишние стилистические изыски: в этом отношении он напоминает первого ученика в классе, который прочел все на свете». Возможно, это простое совпадение. Возможно, Гомбрович говорит о другой книге и о другом африканце. И все-таки – «Лабиринт», «бесчеловечный»... Есть ли вероятность, что... Не знаешь, твой Элиман случайно не побывал в Буэнос-Айресе в пятидесятых годах?

– Не знаю. Пока еще не знаю. Но Сига Д. должна знать. Она мне скажет, да или нет.

* * *

Недавнее выступление в печати Анри де Бобиналя лишний раз подтверждает: дело Элимана далеко от завершения. Так, Поль-Эмиль Вайян, профессор кафедры литературы в Коллеж де Франс, заинтригованный заметкой своего коллеги и этнолога, прочел книгу Элимана, а затем обратился к нам.

Этот эрудит был поражен столь же искусными, сколь и очевидными «литературными заимствованиями», которые обнаружил в романе. Вся книга, словно заплатами, испещрена переписанными фразами из произведений европейских, американских и восточных авторов прошлого. Кажется, не был забыт ни один знаменитый литературный текст, от античности до наших дней [...].

Месье Вайян, разумеется, решительно осуждает подобную практику, но в то же время восхищается тем, как виртуозно автор включил в книгу эти разнородные фрагменты, перемешав их со своей собственной прозой и встроив в сюжет так, чтобы все в целом не превратилось в абракадабру.

Альбер Максимен

«Пари-Суар»

22 августа

Последний день перед отъездом Мусимбвы в Конго. Он позвонил мне, и я сразу понял: он испытывает страх, который сжимает грудь накануне далекого путешествия. Это меня успокоило: если он сознаёт опасность поездки, значит, предпринимает ее в ответ на услышанный им зов. Он сказал мне, что был бы рад взять «Лабиринт» с собой, и пожелал мне удачи в поисках Т. Ш. Элимана. Я поблагодарил его и стал умолять, чтобы он не вздумал браться за какую-нибудь очередную «книгу о возвращении на родину». Он поклялся, что сумеет не свалиться в эту смрадную трясику, которая разверзается под ногами всех писателей-эмигрантов, вообразивших, что они вернулись домой. Мы посмеялись, и на этом разговор закончился. Мы сказали друг другу «до свидания». И прервали соединение.

После этого я включил компьютер и занялся «Лабиринтом бесчеловечности». Я преследовал слова, как охотничий пес, как сыщик, как ревнивец. Моя литературная слежка разворачивалась в самом сердце фразы Элимана. Я не копировал текст. Я писал его; я стал его автором, подобно тому как борхесовский Пьер Менар был автором «Дон Кихота». Спустя четыре часа я закончил. И послал файл электронной почтой Мусимбве с припиской: «В дорогу». Ответ пришел немедленно: «Ты псих, парень, но спасибо». После этого я пошел в африканский ресторан. Музыкант играл на коре современные хиты. Это меня опечалило, и я, поедая рагу с арахисовым соусом, поймал себя на том, что с удовольствием послушал бы старую заунывную мандинкскую балладу.

* * *

Приходится признать: Т. Ш. Элиман, чья книга нам так понравилась – плагиатор. Тем не менее мы утверждали и утверждаем: речь идет об очень талантливом авторе, что бы там ни думали болваны вроде Вижье д'Азенака. Разве вся история литературы не представляет собой один сплошной плагиат? Чем бы был Монтень без Плутарха? Или Лафонтен без Эзопа? Мольер без Плавта? Корнель без Гильена де Кастро? Возможно, проблема кроется в самом слове «плагиат». Вероятно, все сложилось бы иначе, если бы вместо него мы использовали более литературное, более интеллектуальное, более нейтральное, более высокое, по крайней мере на первый взгляд, слово: интуиция.

«Лабиринт бесчеловечности» заимствует слишком откровенно. В этом его грех. Возможно, быть выдающимся писателем – значит всего-навсего умело скрывать случаи плагиата и непрямого цитирования [...].

Огюст-Раймон Ламбель

«Юманите»

23 августа

Этой ночью мне приснился Элиман. Он сказал мне: «Что ты делаешь здесь, на дороге, за обочиной которой – одиночество и молчание, что ты делаешь здесь?» Знаю, я ответил ему изящно: фразой, полной остроумия и отчаяния, из тех, что существуют только в сновидениях, или в последних строках какого-нибудь письма Флобера, или в устах таксистов-сенегальцев, когда, безнадежно застряв в пробке, они в паузе между грязным ругательством и плевок в лобовое стекло вдруг произносят изумительные философские афоризмы. Знаю, это была именно такая фраза. Конечно же, проснувшись, я ее не помнил. И поэтому весь день чувствовал себя несчастным.

* * *

Издательство «Жемини» только что изъяло из продажи весь тираж «Лабиринта бесчеловечности». Издательство также сообщило, что после выплаты компенсации некоторым авторам, признанным жертвами плагиата, объявит себя банкротом.

Основатели и владельцы «Жемини», Шарль Элленстейн и Тереза Жакоб, так и не представили никакой информации о Т. Ш. Элимане. По-видимому, на предъявленное обвинение писатель намерен отреагировать своим отсутствием, своим выразительным молчанием. [...]

В литературных кругах эта мистификация вызывает не только неловкость, но и смех: одно время в нее искренне верили. В ловушку попались даже члены жюри литературных премий. Т. Ш. Элиман в каком-то смысле поставил под сомнение их компетентность, их ответственное отношение к делу, а быть может, и их культуру.

Ситуация станет еще более неловкой, если пресловутый Т. Ш. Элиман действительно окажется африканцем. Получится, что он отвесил звонкую пощечину носителям культуры, которая вознамерилась его цивилизовать.

Жюль Ведрин

«Пари-Сюар»

24 августа

Станислас на несколько дней уехал в Польшу. У него там остались родственники. Он попросил держать его в курсе моих разысканий по Элиману.

Поскольку я теперь был в квартире один, я пригласил на ужин Беатрис Нанга. Произошло то, чего я боялся: она согласилась. Первые минуты ее визита были ужасны, мы оба мучительно стеснялись. Над нами пролетели несколько тихих ангелов, причем далеко не кубистских. Она

спросила, нет ли у меня новостей от Мусимбвы. Нет, а у тебя? Тоже нет. Надеюсь, он добрался благополучно. И я. Снова молчание. Я наполнил бокалы по второму разу. И залпом выпил свой. Пойдем за стол? Да. Я подал еду. Она попробовала и ничего не сказала. Я делал вид, что смотрю на ее пустую тарелку. Но притворяться было ни к чему: надо было говорить, хотя слова могли оказаться жесткими, обидными. Нарыв, так сказать, необходимо вскрыть. И я спросил прямо:

– Ты сердишься на меня за то, что я тогда не пошел в спальню, Беа?

– Знаешь, ты не единственный полноценный мужчина в мире, – ехидно заметила она. – А тот, кто пошел, щедро одарен природой, и вдобавок мастер своего дела. Тебе надо было услышать меня. (И она устремила на меня пристальный взгляд, который должен был быть жестоким, но мне показался просто грустным.) Но я и правда на тебя сердита. Дело не только в моем теле или в твоём желании.

– А в чем?

Она ринулась на меня как торпеда:

– У тебя никогда не хватает мужества отвечать за собственное мнение. Ты не можешь без оговорок, вечно даешь понять, что есть нюансы, что не все так однозначно. По-твоему, это признак ума, зрелости, глубины мысли? О чем бы ни шла речь, о самых важных или самых обыденных вещах, ты никогда не можешь определиться. В данную секунду ты чего-то хочешь. А секунду спустя – уже нет. У тебя в одной фразе уживаются вера и сомнение. Жизнь, состоящая из сплошных «может быть»? Такой жизни ты хочешь? Невозможно понять, что у тебя в голове. Ты живешь, словно ступаешь по узкому гребню горы между двумя пропастями. В тот вечер, когда я поняла, что ты не придешь, я вначале действительно рассердилась, я была разочарована, ведь я хотела, чтобы ты тоже пришел, да и ты говорил, что хочешь. Но потом подумала и поняла: дело не в твоём отношении ко мне, а в твоём отношении к миру, вот в чем оскорбление. Что для тебя важно? Какое желание тобой движет? Чему ты хранишь верность? Даже в спорах о «Лабиринте бесчеловечности» ты не проявляешь энтузиазма, как будто твоей единственной целью было воодушевить нас. Но что воодушевляет тебя? Я сержусь на тебя за то, что ты проходишь сквозь события и людей, как призрак сквозь стену. Человек к тебе привязывается, и какое-то время кажется, что ты привязался тоже. Но однажды ночью ты исчезаешь, человек просыпается, твое место рядом успело остыть, и неизвестно, почему и куда ты ушел. Известно только, что ты не вернешься. Но люди – не подопытные кролики, а я – не чертова лабораторная крыса, Диеган. Люди – не пассивный литературный материал, с которым можно делать что угодно, не фраза, которую ты, снисходительно улыбаясь, выворачиваешь так и сяк у себя в голове. Знаешь, в чем преимущество Мусимбвы по сравнению с тобой? У вас с ним много общего, но он понимает людей. Он живет среди них, на земле. Когда надо трахаться, он трахается, когда надо пить, он пьет, когда он может утешить, он утешает; он не боится душевных затрат, не боится, что его обманут. Это мужчина. И как писатель он от этого только выигрывает. Он горячий. А ты холодный. Не видишь людей, не видишь мира вокруг. Ты считаешь себя писателем. И это убивает в тебе человека. Понимаешь?

Она выпалила все это, как будто выучила заранее, но я понимал, что эти слова выходят у нее из самого нутра. Ее голос дрожал, в нем слышались слезы. Когда она замолкла, я взглянул в окно на темное небо. На меня вдруг навалилась огромная усталость, я вздохнул:

– Наверное, ты права.

– Это все, что ты можешь сказать?

– А больше сказать нечего. Ты права.

– Ты и правда ничего не понимаешь.

Затем она встала и взяла сумочку. Извини, Беатрис. Она не ответила на эти слова, которые, впрочем, я произнес про себя. Повернулась и ушла.

Я вышел на балкон, посмотрел вниз. Наша улица, обычно оживленная по вечерам, сегодня была пуста. Я увидел только удаляющуюся фигуру Беатрис, и от этой картины мне захотелось плакать.

25 августа

Во время последней ночи со мной Аида сказала мне в своем обычном стиле, лаконичном и резком:

– Вчера я прочла «Анатомию пустоты». Я хотела до отъезда поговорить с тобой об этом. Извини, если получится грубо. Я польщена, что ты посвятил мне свою первую изданную книгу. Но совершенно очевидно: ты еще не писатель. Или, точнее, ты еще не знаешь, какого рода писателем хочешь стать. В этой книге я не замечаю твоего присутствия. Тебя там нет. Ты не живешь в этой книге. А она не живет в тебе. В ней нет ни зла, ни меланхолии. Она слишком чистая. Слишком невинная.

– По-моему, – сказал я, – браться за перо, чтобы почувствовать себя на стороне зла – это позерство. Настоящее зло, – сказал я, – это не то, что пишется, а то, что совершается. Для зла нужны поступки, Аида, а не слова, книги или мечты: нужны поступки.

Она ничего не ответила. Я сказал еще, что не пишу в меланхолии или для того, чтобы в нее впасть. Что бы она там ни думала, моя цель, когда я пишу, – найти последнюю на земле дорогу к невинности.

Аида улыбнулась, но больше ничего не сказала; благодаря этому мы смогли посвятить то небольшое время, которое нам оставалось, не разговорам, а любви. Но я запомнил ее слова.

Сегодня, год спустя, меня ужасает глупость моих ответов. Что такое зло – большой вопрос. Из невинности нельзя сделать литературу. Без меланхолии нельзя написать ничего прекрасного. Ее можно симулировать, камуфлировать, возвести в трагедию или превратить в потешную комедию. В тех вариациях и тех комбинациях, которые открывает для нас литературное творчество, позволено все. Вы поднимаете крышку люка с надписью «грусть» – и оттуда раздается взрыв смеха. Вы заходите в книгу, как в черное, ледяное озеро скорби. Но добравшись до дна, попадаете на праздник: кашалоты танцуют танго, морские коньки отплясывают зук, морские черепахи – тверк, а гигантские осьминоги изображают «лунную походку». Но начинается все с меланхолии, меланхолии от того, что ты человек; только душа, которая сумеет заглянуть вглубь меланхолии, до самого дна, и затронуть ее струны в каждом человеке, – только такая душа станет душой художника – и писателя.

Пишу эти беспорядочные, безапелляционные строки в поезде. Я еду в Амстердам. Сига Д. ждет меня. Взял с собой «Лабиринт бесчеловечности» и блокнот с заметками, которые сделал в архиве прессы. Сегодня вечером или завтра днем я буду знать больше, чем сейчас. Но знать о чем? И о ком? О «Лабиринте бесчеловечности»? О его предполагаемом продолжении? Об Элимане? О Сиге Д.? О самом себе?

Чаще всего, старина Дневник, когда люди хотят узнать правду, она нужна им не как откровение, а как возможность, как свет в конце туннеля, который мы роем всю жизнь, не имея налобной лампы. То, что я хочу обрести, это яркость мечты, блеск иллюзии, соблазн возможного. Что там, в конце туннеля? Гигантская стена угля, и наш отбойный молоток, наши топоры, наши усилия. Вот оно, золото.

Я поднимаю глаза: надо мной нет сияющей звезды, чтобы вести меня за собой; есть только изменчивое, порой грозное, вечно безмолвное небо, которое вращается над миром. Звездные карты уже не поддаются прочтению: небо тоже лабиринт, причем не менее бесчеловечный, чем лабиринт Земли.

Первая биографема *Три замечания о Главной книге*

(отрывки из дневника Т. Ш. Элимана)

Тебе хотелось бы написать одну-единственную книгу. Ты в глубине души знаешь, что на самом деле важна только одна книга: та, которая порождает все остальные, или та, которую все остальные предвещают. Ты хотел бы написать книгу-убийцу, литературное произведение, которое уничтожит все предшествующие и убьет в зародыше те, что безрассудно попытались бы родиться после. Разом истребить и унифицировать все богатства литературы.

Любая книга, притязающая стать абсолютom, заранее обрекает себя на поражение; но именно сознание неизбежности поражения вдохновляет того, кто берется за такое. Жажда абсолюта, уверенность в грядущем фиаско: вот уравнение творчества.

Намерение создать Главную книгу равнозначно стремлению поставить себе целью объять необъятное и оставить за собой последнее слово в неизмеримо долгом высказывании. Но тут не может быть последнего слова. А если есть, то сказать его не удастся, ибо оно не принадлежит людям.

* * *

Какими чернилами пишется книга, отсутствие которой обличает непомерные притязания ее автора? Каким языком будет изъясняться произведение литературы, которое дало понять, что его задача – хранить молчание?

Пустота невежества. Пустота глупости. Пустота страха. Но пустота без конца уничтожает себя сама, и именно в интервалах между двумя ее самоубийствами писатель, если он ищет в ней прибежища, использует сверкающий и смертоносный клинок интуиции и ясности:

Главная книга пишется на языке мертвых;

Главная книга вписывается во время забвения;

Главная книга расписывается в неприсутствии (ни присутствии, ни отсутствии).

В этот момент пустота перерезала себе горло, и в беззвучном крике, когда клинок вонзился в плоть, тебе показалось, что отваливающаяся голова с ужасающим спокойствием изрекла последнюю, ужасающую гипотезу:

Главная книга не пишется.

* * *

На пути к Главной книге искушение молчанием иногда бывает столь же бездейственным, как искушение высказыванием. Пустой обет молчания убивает так же неизбежно, как пустая болтовня: и тот и другая думают, что ставят главное в зависимость от позиции, которую автор занимает по отношению к языку или к миру, когда главное нуждается в языке как в посреднике. Чтобы вызвать внутреннее землетрясение, надо найти трещину и расширить ее.

Если для тебя речь идет только о том, чтобы задобрить мистику одиночества немой либо словом, при этом не дав ей хоть какую-то сущность или какую-то истину, лучше умри сию же минуту. Бывают укрытия, в которых не укроешься, и компании, в которых не пообщаешься. Есть многозначительные молчания, лишенные смысла, и конструкции из слов,

которые претендуют быть судьбоносными, но в решающий момент, когда надо поддержать истинную суть, рассыпаются, как карточный домик. Чтобы ты, вооруженный молчанием или словами, мог начать путь к истине, к Главной книге, тебе потребуется прежде всего мужество.

Хватит ли его тебе на то, чтобы начать твою книгу сейчас, когда тень отца больше не будет тебя тревожить? Найдется у тебя столько же мужества, сколько у него, мужества написать то, что ты носишь в сердце? Прерви сейчас же этот дневник и начни свою книгу: войди в «Лабиринт бесчеловечности».

Книга вторая

Часть первая

Завещание Усейну Кумаха

I

«Комната: ты еще не успела войти, как у тебя рвота подкатила к горлу: ты ощутила запах старости и болезней, запах ослабевшего тела, которое с приближением конца полностью забывает о стыде. Я знала своего отца только стариком. От этого я только сильнее его ненавидела, так же как ненавидела эту комнату, которую он в последние годы жизни почти не покидал. В конце концов он с ней, можно сказать, сросся. Когда я думаю об отце, то прежде всего вспоминаю даже не его лицо, лицо слепого, а его запах. Я вижу этот запах. Я прикасаюсь к нему. Он выворачивает мне внутренности. И только потом запах обретает плоть, которая превращается в лицо моего отца. Он заставил меня нюхать этот запах при жизни, а теперь принуждает к этому из могилы. Смрадное дыхание. Тягучие плевки. Недержание мочи. Выделения из прямой кишки. Небрежная гигиена. И общее, неизбежное гниение целого. Мой отец был падалью, на которую невозможно смотреть. С самого детства и до той ночи, когда он послал за мной, я всегда видела и знала его таким. Это случилось в 1980 году, мне тогда было двадцать, ему девяносто два.

Я шесть раз постучала в обитую цинком дверь его комнаты, как предписывало правило. Три раза – пауза – потом еще три. Если после шестого раза он не отвечал, это означало, что он спит или занят и надо прийти позже. В нашем доме это было законом. Только жены моего отца могли его нарушать. Мам Куре, Йайе Нгоне и Та Диб имели право входить в комнату отца в любое время, чтобы переодеть его или сделать уборку. Жены моего отца по очереди дежурили возле него с преданностью, которая долгое время казалась мне необъяснимой. Все свое детство и отрочество я размышляла об этом и наконец пришла к выводу, что они заходят в эту омерзительную комнату не столько для того, чтобы наводить порядок или ухаживать за умирающим, сколько для того, чтобы проверить, жив ли он еще. И каждая надеялась, что именно ей доведется сообщить радостную весть другим женам. Я представляла себе, как они шушукаются, когда одна из них выходит в коридор.

– Ну что? – спрашивает Йайе Нгоне дрожащим от волнения голосом.

– Все еще нет, – с досадой отвечает Мам Куре. – Дышит пока.

– Сейчас я пойду, – через несколько секунд, переварив разочарование, произносит Йайе Нгоне. – Быть может, Господь избавил его от лишних страданий...

– Да услышит тебя Господь, – подхватывала Та Диб. – Да услышит нас Господь.

(Но Бог ничего не слышал, потому что Бог порвал себе барабанные перепонки, чтобы выжить и спасти свое психическое здоровье.)

Долгое время такие фантазии помогали мне оправдывать их поведение по отношению к моему отцу. Но, быть может, я ошибаюсь. Приписываю этим женщинам какие-то разговоры, не зная их по-настоящему, не учитывая их жизненный опыт, который от моего отделяла целая пропасть. Возможно, они в самом деле любили его. Все-таки это был их муж – дверь их рая, как с самого их рождения вдальблывала им в голову традиция. Мам Куре, Йайе Нгоне и Та Диб были моими мачехами. Это они меня воспитали, потому что моя мать, дав мне жизнь, через несколько минут лишилась своей.

Но возвращаюсь к порогу комнаты. Тройной стук в дверь. Ожидание. Тишина. Стучу еще трижды. Молюсь, чтобы он спал или умер и не откликнулся на мой стук.

– Входи.

Не повезло. Набираю полную грудь воздуха, отрываю подошвы сандалий от пола и вхожу. Маленький фонарь через грязное стекло слабо освещает комнату. На самом деле свет захватывал только кровать и пространство вблизи нее. За пределами этого круга царила потусторонняя тьма. Вот остов моего отца. Как сейчас вижу его посреди кровати, на загаженных простынях, недвижимого, точно надгробный памятник. Мог ли он сознавать, что лежит в нечистотах? Сохранялось у него обоняние или оно притупилось до такой степени, что он уже не ощущал этого тошнотворного запаха? Я пробыла в его логове несколько секунд, прежде чем он пошевелился и приподнялся на локтях. От этого усилия у него вырвался стон. Кровать, сработанная в свое время для могучего атлета, стала слишком велика для ссохшейся мумии, в которую он превратился к девяноста годам. Он сдвинул одеяло на тощие ляжки. Я разглядела в полумраке заострившийся профиль, дряблый торс, обвислые плечи. Когда он откинул голову назад, я на мгновение испугалась, что она отвалится под собственной тяжестью: настолько тонкой и слабой казалась его шея. Он подвинулся, чтобы повернуться ко мне, и я почувствовала сильный запах мочи. Я инстинктивно поднесла руку к лицу, чтобы зажать нос, но испугалась, что он это увидит. И тут же вспомнила: да ведь он слепой. Запустив узловатую костлявую руку под кровать, он вытащил оттуда горшок, до половины наполненный песком. Это была его плевательница. Он прокашлялся. Я отвела взгляд. Это не помогло: громкое харканье позволяло ясно представить себе количество и густоту отошедшей мокроты. Я услышала, как он поставил горшок на пол, и только в этот момент подняла на него глаза. Его глаза, невидящие, но широко открытые, были устремлены на меня.

– Я внушаю тебе отвращение, Марем Сига?

Ему было трудно говорить. Рот кривился в гримасе, которая была бы смешной, если бы на лице не появлялось выражение страдания и беспомощности, которое может появиться на чьем угодно (в том числе и на моем) лице, когда человека уродует, а иногда и опошляет старость. В гримасе боли этого человека, моего отца, ненавидимого мной, я видела свое лицо в будущем.

– Я внушаю тебе отвращение, да?

В этот раз тон был более жестким. Я не ответила и попыталась выдержать его угасший взгляд. Во всем его существе только глаза еще сохраняли жизненную силу. Он потерял зрение еще в молодости. Но когда он открывал глаза и устремлял их на тебя, приходилось сдерживать дрожь. Все вокруг гнило от старости и смрада, и только взгляд в этом разлагающемся теле упорно не сдавался – остаток гордыни моего отца. Рот снова искривился. Он заговорил. Жесткости в голосе уже не было, ее сменила печальная и смиренная благодарность:

– Да, я внушаю тебе отвращение, Сига. Но тебе, в отличие от остальных, уже не хватает лицемерия, чтобы это скрывать. Я это вижу, хоть и слепой.

Он снова улегся. Почувствовав облегчение от того, что его взгляд больше не устремлен на меня, я вдохнула едкий запах комнаты, от которого у меня защипало в горле. Отец дышал с трудом. Из его груди вырвался долгий свист.

– Мам Куре сказала, что ты хотел меня видеть.

– Да, – сказал он. – Я узнал от нее, что ты сдала экзамены и собираешься продолжить учебу в столице. Я не буду тебя удерживать: это ничего не даст. Раньше или позже, но ты уедешь. Раньше или позже, – повторил он. – Я знаю это с того дня, как ты появилась на свет. Я прочел твое будущее, и я его знаю. Ты можешь уехать, когда захочешь. Я уже отдал распоряжения Мам Куре. Когда устроишься там, она вышлет тебе деньги. У нас есть там родственники. Можешь поселиться у них. Мы их предупредили. Но я хотел кое-что сказать тебе до того, как ты уедешь. Ты – младшая из моих детей, единственный ребенок, который был у меня с твоей матерью. Когда ты родилась, я уже мог бы быть твоим дедом. При такой разнице в возрасте

трудно было рассчитывать, что мы сблизимся. Но я никогда не был близок с тобой по другой причине. И я хотел поговорить с тобой об этом, пока ты еще здесь. Я знаю, что в этой жизни мы больше не увидимся.

«И ни в какой другой тоже, надеюсь», – подумала я. Да, так я тогда подумала, и думаю еще и сейчас, Диеган».

Сига Д. умолкла. Было уже почти два часа ночи. За час до этого я позвонил в дверь Матушки-Паучихи. Меня привел к ней GPS. Когда она открыла, я замер на несколько секунд: мне вспомнилась та ночь. И я словно прирос к ступенькам лестницы. Она привела меня в чувство, отпустив какую-то шутку, затем просто и непринужденно поцеловала в уголок рта. Отступила на шаг, чтобы дать мне войти, и я вошел, слегка задев ее прославленную грудь.

Я сразу приступил к делу:

– Я хочу услышать прямо сейчас все, чего еще не знаю о Т. Ш. Элимане. Все, что ты сможешь мне рассказать.

Ее насмешили мои претензии и моя спешка. Мы прошли в гостиную, сели. Она втянула меня в разговор на темы, которые мне казались не самыми злободневными – например о том, как подвигается (куда подвигается?) мой второй роман, – и только потом, когда я уже начал раздражаться, провела меня в комнату отца. Наберись терпения, предупредила она, это долгая история, но начинается она в этой комнате.

Матушка-Паучиха все еще молчала. Образ отца уже встречался мне в некоторых ее романах, но встретиться с ним сегодня лицом к лицу и ощутить его запах – это было совсем другое дело. Я видел воочию, как он лежит на диване, а возле дивана стоит горшок с песком в ожидании очередной порции мокроты. Сига Д. смотрела на него, и глаза у нее сверкали. Она продолжала:

– Мало наберется писателей, которые всегда ненавидели своих отца и мать. В книгах, где они сводят счеты с родителями или просто пытаются понять, почему не могли поладить с ними, под конец всегда появляется немного любви, капелька нежности, которая смягчает враждебность. А зря! Жизнь сделала им нежданный подарок, а они променяли его на дурацкую сентиментальную привязанность к папе с мамой! Возмутительно! Надеюсь, я буду и в дальнейшем ненавидеть отца, и это чувство у меня не ослабеет. В нем оно не ослабело. До последнего дня он отказывал мне в своей любви. Считал, что я ее недостойна. Вот какой урок он мне дал, и я этот урок усвоила. Если я перестану ненавидеть отца, что во мне от него останется? Ненависть – это то, что он мне завещал. И я должна быть достойной такого наследства. Можешь положиться на меня, Усейну Кумах. Можешь рассчитывать на мою ненависть, отец: ее хватит надолго.

Как бы отвечая дочери, лежащий на диване Усейну Кумах зашелся в приступе кашля. Он не успел взять плеательницу, и вылетевший из его рта красноватый сгусток мокроты плюхнулся к ногам Сиги Д. Она не шелохнулась и продолжала:

– «Ты, наверное, думаешь, что я не люблю тебя за то, что ты отняла жизнь у своей матери», – сказал он мне. И я действительно так думала, Диеган. Отец очень рано объяснил мне, что я должна относиться к Мам Куре, Йайе Нгоне и Та Диб как к матерям, но ни одна из них не была мне матерью: та, что произвела меня на свет, умерла через несколько минут после моего рождения. Он сказал мне это холодным, осуждающим тоном. Мне тогда было шесть лет, и я подумала: если он меня не любит, если он меня наказывает, если он не разговаривает со мной, держится со мной не так, как с другими своими многочисленными детьми, то потому, что я забрала жизнь моей матери. Мне было мало моей собственной. Понадобилась еще жизнь мамы. Я ухватила за это объяснение, и долгие годы мне было его достаточно. Возможно, оно было слишком жестоким, зато простым и правдоподобным, если нужно было оправдать его отстраненность, его суровость в отношении меня, непонятный отказ участвовать в моих детских играх, в моих детских шалостях; чего я только ни придумывала и ни затевала с единственной целью добиться его внимания, нет, не нежности, которую он расходовал так же экономно,

как скупой тратит деньги из кубышки, нет, только простого, обычного внимания к моей персоне. Порой мне это удавалось, и тогда он набрасывался на меня с бранью или нещадно избивал. Такие дни были самыми радостными и спокойными днями моего детства: отец меня замечал или вспоминал о моем существовании и проявлял свою нелюбовь ко мне со всей силой, на какую был способен. Побои давали мне редкую возможность физического контакта с ним. И я регулярно провоцировала его. Мне было интересно, до чего он может дойти. И я нарочно нарушала его запреты. Бравировала плохими манерами. Говорила непристойности. Дралась. Воровала. И все это для того, чтобы он меня заметил, чтобы он меня наказал. Получив оплеуху, я позволяла себе еще больше. Иногда он избивал меня до полусмерти. Соседи сначала заступались за меня, потом перестали вмешиваться. В деревне считали, что в меня вселились демоны. И если мой отец, за которым признавали способности целителя, не мог меня вылечить, значит, никто другой и подавно не сумеет. Мои мачехи не понимали, почему я так себя веду. Они делали все, чтобы восполнить мне недостаток материнской заботы, временами обращались со мной даже лучше, чем с собственными детьми (за что эти последние меня терпеть не могли), лишь бы я не чувствовала себя сиротой. Но их усилия были напрасны: я носила в себе смерть матери, я сама была этой смертью, потому что забрала себе ее жизнь. Отец часто напоминал мне об этом, так часто, что в самых приятных снах вместо восходящего солнца я видела на небе голову матери, отделенную от туловища. В своей первой книге я написала, что покойная мать научила меня одиночеству. Это правда. Но, как ни странно, я никогда не могла остаться одна. Она здесь, у меня внутри. Я проглотила ее, чтобы выжить. Я всегда чувствовала ее у себя в животе. Именно это накрепко связало меня с отцом. И ничто не могло извлечь ее оттуда – ни его равнодушие, приправленное ненавистью, ни забота, которой окружали меня мачехи, пытаясь приручить. Ничто не могло помочь. С самого рождения, с первого младенческого крика я была обречена на ненависть отца, считавшего, что я обошлась ему слишком дорого. По крайней мере, так я думала до того вечера. И сказала об этом ему. «Да, я так думаю. Думаю, что ты не любишь меня потому, что я появилась на свет, забрав жизнь своей матери».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.